

С. ДМИТРИЕВСКИЙ

**С О В Е Т
П О Р
Т Р Е Т Ы
С К И
И
Е**

ИЗДАТЕЛЬСТВО „СТРЕЛА“

С. ДМИТРИЕВСКИЙ

**С О В Е Т С К И Е
П О Р Т Р Е Т Ы**

ИЗДАТЕЛЬСТВО „СТРЕЛА“

עיריית
מזרחית
מרכז
בית
.....

Alle Rechte vorbehalten.
Copyright 1932 by S. Dmitriewsky, Stockholm

עיריית חיפה / מנהל
אנף לחיכוך השכר
הספריה הצבורית
ס' 52783/1

«Energiadruck», Berlin SW 61

OCR Давид Титиевский, июль 2020 г., Хайфа

РУССКОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Московский Кремль. «Святыня русской земли». Сердце Москвы и России.

Отсюда началось собирание нашей земли. Маленькими лоскутками вначале: по пашне, по роще, по селу. А потом к новому центру славяно-монгольского мира потянулись необозримые поля и леса, горы, реки, моря. Из Москвы стала Россия — шестая часть земли. Не Европа, не Азия, но Россия — отдельный материк, отдельный, ни на что непохожий, ни с чем несравнимый мир.

Здесь утвердилась власть царей. За толстыми стенами Кремля, в темных покоях старых дворцов, сидели они, таинственные владыки и узники, живые иконы, немощные и всемогущие одновременно. За стенами Кремля, на улицах и площадях Москвы, бурлило народное море. Люди всей земли собирались сюда: от Днестра и Днепра до китайской границы. Неумолчно бились волны о стены, рассказывая царям о народных нуждах. Иногда перекачивались через ста-

рый кирпич. Цари становились лицом к лицу с народом. Немошные и всеильные иконы в золотых ризах становились вновь и вновь народными избранныками, выразителями народной воли и народных интересов. Так в Москве родилась и укрепилась идея народного царя, перед которым все равны, который в решающие моменты входит в непосредственное общение со своим народом, минуя все средостения — и в этом обретается сила царя и благо народа.

Здесь же родилась идея о том, что Москва, а, следовательно, Россия, должна обновить и спасти весь мир. Что Москва — третий и последний Рим, который должен в веках оковать весь мир своей властью и все человечество напитать истинной своей верой.

Здесь появился на свет великий Петр. Отсюда, убегая от Азии, стремясь к Европе, ушел на берега Балтийского моря, основал новую столицу и новую империю. Новое государство стало в конце концов лишь обновленной формой старого.

Петр настроил дворцов и казарм европейского вида. Завел иностранные порядки. Обрядил бояр и дворян в кургузые немецкие кафтаны. Научил их манерам иностранных матросов и мастеровых. Обстриг бороды. Обрубил непокорные головы. Нашел новые, хуже причесанные, но лучше думающие. Нашел руки, мускулистые, жадные, проворные. Начал ими строить учреждения западного типа, фабрики, корабли, армии. Исказил русскую речь. Унизил русскую цер-

ковь. Сделал ее своей покорной служанкой. Оплевал все старое. Пронесся, как буря, над русской землей. Изменил весь вид ее. Изменил самого русского человека. И умер, проклинаемый одними, превозносимый другими, оставив сумятицу и развал, пустую казну, никчемные зачастую фабрики, которые вскоре начали разрушаться. Оставив наследниками новых людей, вчерашних босяков, сегодня первых сановников государства, которые думали не столько о том, чтоб спасти и возвеличить Россию, сколько о том, чтобы перегрызть друг другу глотки, да набить поплотнее карманы, да получше, подольше пожить. И перегрызли таки друг друга, погибли один за другим. — За ними пришли инородцы, немцы, французы, герцоги и конюхи, императрицы и проститутки. Россия стала игрушкой в руках иноземных проходимцев и иностранных держав. Но семена, брошенные Петром, не заглохли. Кровь дала всходы. Русская нация вновь нашла себя, наверх опять вышли русские люди: Разумовские, Орловы, Потемкины. Появился Павел, нашел достойного наследника в Николае, был Сперанский, был Аракчеев, — Россия не развалилась, но и не стала Европой. Впитала новое, перемешала со старым, из уродливого петровского наречия создала мощный русский язык, вновь возвеличила родную церковь, создала новую культуру, засиявшую невиданным и ни на что непохожим блеском. И так, пережив мучительнейшую и долгую болезнь пересоздания,

перевороужившись за счет Европы и за счет страданий и лишений собственного народа, Россия вернулась на старый исторический путь. Обновила старые формы — дала новое жизненное содержание и новую мощь идее народной монархии.

Время шло дальше — и все быстрее. Менялся мир. Должна была измениться и Россия.

Новая столица, Петербург, была не только правительственным центром, городом империи и императоров. Не только таким окном в Европу, сквозь которое приходило все нужное — и только нужное. Через это окно проникал в Россию и губительный яд идей, навыков, людей, которые должны были разложить и разложили историческую жизнь страны.

В Петербурге рядом с дворцами русской власти высились и дворцы власти иноземцев: банки, заграничные промышленные и торговые конторы. Там ткались планы порабощения русской нации, там выковывались тонкие золотые цепи, которые должны были сковать ее по рукам и ногам. Оттуда протягивались нити влияния в правительственные канцелярии, в центры экономической жизни, в редакции газет и комитеты партий, на кафедры университетов, даже в кельи духовенства. Все туже и туже сплеталась, все крепче натягивалась сеть этих нитей, пока Россия — верхушечная, чиновничья, либерально-интеллигентская, но не народная — не оказалась уловленной в нее почти целиком. Тогда потянули за края сети — и

бросили Россию в войну, которая должна была окончательно сделать ее колонией золотого интернационала. Одно мешало, одно оставалось неуловимым: историческая власть — императорская власть. Она ограждала Россию от позора рабства — она одна. Тогда подготовили и осуществили революцию.

В Петербурге были густые леса фабричных труб: он был столицей фабричного пролетариата. Был вместе с тем и столицей радикальной русской интеллигенции, нищенствовавшей во имя идеи, ютившейся в гнилых колодцах мрачных домов и там вынашивавшей свои фантастически — величавые планы. В душе этой интеллигенции, в значительной части вышедшей из русского дворянства или из русской рабоче-крестьянской среды, копилась, с годами все более сгущаясь, тяжелая, как гранит петербургский, черная, как дым петербургских труб, ненависть. Ненависть к тому строю, который все явственнее зарождался под складками имперской мантии: к строю порабощения русского народа международным хищническим капиталом. Рождались мечты, идеи, планы — бесформенные пока что, неясные, как туман. Ясно было одно: воля к власти, стремление к пересозданию лица и души страны.

В убогих комнатках, при колеблющемся свете свечи или керосиновой лампы, бледные, изнеможенные люди, с суровыми лицами подвижников, просиживали бессонные ночи над горами книжек. Эти книги говорили о том, как и во имя чего делаются революции.

Эти книги говорили о том, как и во имя чего должна быть сделана революция в России: как овеществить начинавшую забываться, стираться в сознании правящих верхов идею подлинной народной монархии — без средостений меж вождем нации и его народом. Прежние революции в России приходили сверху: от воли и создания самодержца. Сейчас ее строили снизу. Верх эти люди считали слишком уж разложенным влиянием золотого капитала. В сущности, эти люди стремились не разрушить, но возстановить испытанный и освященный веками строй русской жизни. Они делали только одну ошибку — вместо того, чтобы сплотиться в осуществлении своих планов с естественным носителем исторической власти, царем, они шли против него. Но могли ли они не делать этой ошибки? Не толкала ли их к ней сама жизнь? Возможен ли был иной путь? Могли ли они при тогдашних условиях обеспечить себе влияние на трон? — Нет. Ибо пути к трону для русских людей, для народа, заросли, были непроходимы. Густой стеной меж царем и народом стояла масса развращенных, разложенных влиянием западного золота, отупелых и косных верхов... И люди, желавшие возсоздать историческую Россию, возставали и против трона — чтобы разрушив сущий, создать новый.

В тех же комнатках снаряжались зловещие бомбы. И те же люди по утрам, как на прогулку, выходили с тяжелыми свертками под мышкой, стояли часами,

ждали, пока не зацокают по гулкому торцу копыта правительственной кареты . . . Взмахивали рукой, убивали, умирали.

В эти комнатки тоже проползла золотая змея капиталистического интернационала. Туда пришли, втерлись, стали там распоряжаться темные иноземцы, международные авантюристы, наемные агенты капитала, надевшие маску народных и революционных идей. Принесли с собой чужеродные идеи, принесли марксизм, это новое евангелие капиталистического порабощения, подменили лозунги национальной и общечеловеческой освободительной борьбы лозунгами борьбы классовой и антинациональной. Стали организовывать революцию по-капиталистически, как фабрику, вложили большие средства, разделили труд, рационализировали разрушительную работу. Так подчинил себе золотой интернационал и людей русской народной революции, отравил их своей ложью, сделал их своим орудием. Когда революция произошла, было трудно в пестрой толпе, начавшей распоряжаться телом России, отличить русского народного революционера от наймита антинационального капитала, создателя новой России от разрушителя всего русского.

Но революция пробудила широкие просторы русской земли. Проснулся и выступил на историческую сцену сам народ.

И народ в конце концов оказался сильнее чужеродных идей и людей.

Под ударами народной стихии с поверхности нашей страны постепенно смывается марксизм; трещит и начинает разваливаться здание коммунистической партии. Люди революции, даже на верхах власти, под давлением народа и его жизни постепенно все больше начинают сознавать себя русскими и националистами. Придет время, — и наша революция окончательно очистится от всего чуждого, наносного и станет тем, чем она только и могла быть: Великой Национальной революцией русского народа.*)

*) Весьма возможно, что процесс зарождения и утверждения новой национальной России будет ускорен войной. Это надо приветствовать. Ибо из войны внешней неизбежно родится освободительная гражданская война. Некоторые зарубежные политики, в том числе проф. Милюков, боятся ее. «Не дай-де Бог, чтобы опять началась вооруженная борьба русских с русскими». И постановка вопроса и формулировка — неправильны. Пятнадцать лет революции прошли не зря. Сейчас многое изменилось в народной душе. И сегодня не будет войны меж «белыми» и «красными», борьбы русских с русскими, но только борьба и война русских, т. е. всей нации, во всяком случае — подавляющего большинства ее, с остатками правоверных коммунистов-марксистов. Весьма возможно, что в обстановке войны удастся освободить часть русской территории и сделать ее базой национально-освободительного движения (идея «буфферного государства»). Лично я это всячески приветствую. Пусть это будет на самой далекой окраине. Пусть это будет самый маленький клочек русской земли. Тем не менее «буфферное государство», если только в нем будет обеспечена русская и народная власть, сможет стать собирательным центром общерусских национальных освободительных сил. «Тактические» и «стратегические» рассуждения некоторых военных и политиков о неравенстве сил, о трудности издали влиять на решающие центры страны и пр., я считаю несерьезными. В этих рассуждениях опять не принимается во внимание то, что сыграло решающую роль в первой гражданской войне: психология народа. Меж тем именно это, а не техника лежит в основе всего. Опять: пятнадцать лет революции прошли не зря. Сегодня большинство народа за национальные идеи. «Красная» армия в большинстве своем — армия нации; то же и в «красном» государственном аппарате. — Аргумент ген. Деникина: «что дает нам

Когда это совершится, русская нация неизбежно вернется к историческим формам своего бытия: к народной монархии. Кремль, колыбель и святыня нашей земли, станет опять центром великой империи русского мира. С его старых башен вновь полетят во все стороны ее орлы, неся новые победы, новые великие дела, новую правду всему миру.

Стокгольм, 12 апреля 1932 г.

Всех, желающих обратиться к автору, просят писать: Швеция. Lidingö 1. Vasaborgen.

право распоряжаться русской территорией?» — по меньшей мере странен. Как что? — То же, что давало и дает нам право, если нужно, умирать за Россию. Мы такие же русские, как и наши братья там. И родина не в меньшей мере, чем их, наше достояние.

I.

Кремль — это город в городе. За высокими стенами — улицы, площади, постройки разных стилей и веков. Дворцы, музеи, церкви, старый монастырь, канцелярии, казармы, хозяйственные и жилые постройки, — все это беспорядочно сгрудилось на небольшом клочке земли посредине Москвы.

Здесь живут почти все члены правительственной верхушки, вся почти верхушка коммунистической партии. И еще, как это всегда бывало при великодержавных дворах, много всяких приживальщиков и паразитов обоего пола: придворной челяди, инвалидов партии, бывших жен и подруг влиятельных сановников, придворных шутов.

Жить в Кремле — это значит принадлежать к высшему обществу красной столицы. Это значит — иметь ряд привилегий. И все сановники поменьше или новоиспеченные из всех сил добиваются квартиры в Кремле: это поднимает их в собственных и в других глазах. Лишь немногие, особенно высоко стоящие, все имеющие, всем пресыщенные сановники предпочитают жить вне Кремля: свободнее, спокойнее, нет стольких шпионских глаз и сплетен. Но для тех, кто стоит на

самом верху, как Сталин, например, жизнь вне Кремля, но в городе, невозможна: небезопасно, нет возможности как следует организовать охрану. Сталин поэтому, имея маленькую квартирку в Кремле, значительную часть своего времени проводит за городом, в Горках, в барском доме, где жил в свое время и умер Ленин. Все подступы к этому имени на протяжении нескольких верст охраняются густой сетью доверенных агентов ГПУ и войсками охраны — и Сталин может чувствовать себя спокойно в старом доме, среди огромного парка, где так тихо, где так одиноко, где, если он захочет, нет иного общества, кроме портретов придворных дам в напудренных париках на стенах. Некоторые и вообще предпочитают жизнь за городом. Как, например, жить в Кремле Бухарину, когда он не может существовать без своих зверей? В годы его величия все друзья и знакомые отовсюду понавозили ему целый зверинец: тут и рыбы, и белки, и обезьяны, был даже медведь, но его пришлось пристрелить...

Кремлевское общество замкнуто, успело сложиться в своего рода касту. В основу ее легла аристократия происхождения — сливки той эмиграции старого большевизма, что ютилась в свое время вокруг Ленина в заграничных мансардах, да по грязноватым кафе. В первые годы революции право на жизнь в Кремле давали не столько высокий чин, сколько старые эмигрантские связи: родственные, постельные, товарищеские. Под тяжкими ударами сталинского режима старая эмигрантская аристократия потеряла свое прежнее значение, расплылась. Многие поскользнулись на опасном пути политической борьбы, упали, повлекли за собой в падении своих родственников, друзей, протеже. А тот, кто падает в Москве с вершин власти, тот неиз-

бежно вылетает и из Кремля. За ним летит и его окружение. Так было с Троцким, с Каменевым, с Зиновьевым, со многими другими.

И в политическую жизнь, и за стены Кремля пришли сейчас новые люди. Жизнь внутри Кремля немного изменилась, но многое из традиций, установленных старой эмигрантской аристократией, поддерживаемых ее остатками, осталось. Кремлевские жители по-прежнему каста — и неохотно, только подчиняясь необходимости, впускают в свою среду новых людей.

Луначарский женился на маленькой артистке Сац-Розанель. Мадам Сац не только не пустили в Кремль — самого Луначарского попросили оттуда выехать. Правда, ему устроили для жизни с новой женой прекрасный особняк в Денежном переулке, где он стал жить гораздо свободнее, устраивая приемы для художественной богемы и иностранцев. Но двери Кремля остались для него закрытыми. В его прежней квартире в Потешном дворце осталась жить его старая жена. Ее — из известного протеста — даже стали чаще, чем прежде, навещать и звать к себе. Новую же Луначарскую до сих пор ни в одной из кремлевских квартир не принимают.

Литвинов. Его жена родилась и воспиталась в Англии. Очень милый, приятный человек. Сосредоточена в себе, с духовными запросами, не без талантов: знает и любит музыку, недурно пишет маленькие новеллы. Но слишком непосредственна — сказала, очевидно, Англия; не подходит к придворным нравам. О ней почему то сложилось мнение, что она «не свой человек», пропитана «мелко-буржуазными традициями» — и так и не смог Литвинов устроиться в Кремле. Живет у Красных ворот, в кооперативном доме Нарко-

миндела, а когда бывает в Кремле у когонибудь с частным визитом, то обычно без жены. Впрочем, Литвинов и сам не особенно тяготеет ни к Кремлю, ни к кремлевскому обществу.

И в Кремле ощущается жилищный кризис. Это не значит, конечно, что здесь, как в самом городе, в квартирах непривилегированных слоев, в одной комнате в грязи и духоте живет семья в несколько человек. Те, кто имеют уже квартиру в Кремле, живут свободно, по московским понятиям даже роскошно: три, четыре, пять комнат на семью в два-три человека. Но использован каждый клочок жилой площади: в дворцах, в монастырских зданиях, в бывших квартирах прислуги. И когда такой клочок освобождается после смерти физической или политической кого-либо — начинается упорная и свирепая борьба, являются десятки претендентов, пускаются в ход самые сильные связи, дело доходит иногда до самого политбюро. В то же время некоторые, особо умеющие со всеми ладить сановники, даже не живя в Москве, ухитряются годами сохранять за собою кремлевскую квартиру. Так Крестинский все время пребывания в Берлине — а он пробыл там 9 лет — сохранял квартиру в Кремле.

Всякая политическая буря в советских верхах своеобразно отражается в Кремле: там не только напряженно следят за развитием политической борьбы из за нее самой; не только заранее подсчитывают, какие должности освободятся и кто их займет, — там подсчитывают и квартиры, какие должны освободиться, и тоже заранее их распределяют.

Не все павшие в политической борьбе изгоняются из Кремля. Те, кто падает не окончательно, на ком приговор: «виновен, но заслуживает снисхождения»,

кто поэтому только снижается, но не окончательно умирает политически, тех оставляют в Кремле, но начинают утеснять: из большой квартиры переводят в маленькую, дают мебель похуже; его заявки на ремонт, на те или иные улучшения не выполняются, либо выполняются с запозданием и кое-как; прислуга перестает его замечать. Нет, вообще, более тягостного положения, чем то, в какое попадает человек московских верхов, впавший в немилость. Это зачумленный человек. Ибо если маленький человек попадает в немилость — это незаметно. Но если падает с кремлевского Олимпа одно из светил — с ним общаться опасно. Встречая его на улице, надо перебежать на другую сторону. Иначе какое нибудь всевидящее око заподозрит сочувствие, сообщничество и... Все московские сановники знают это — и страх оказаться в положении такого зачумленного крепко держит их в состоянии слепого повиновения высшим властодержцам.

Последнее время получить квартиру в Кремле становится все труднее. Московское правительство сейчас более, чем когда либо, опасается дворцового переворота, производимого людьми своей же среды. Эти опасения получили реальную плоть в ноябре 1930 г. — в дни так называемого «заговора Сырцова». При всякой попытке такого переворота занятие Кремля — основная задача. Поэтому с конца 1930 г. новые квартиры в Кремле стали предоставляться лишь в самых исключительных случаях. Кроме того, в составе живущих там была произведена «чистка» — и некоторые были переведены за стены Кремля. Были выведены из Кремля и некоторые второстепенного значения канцелярии ЦИК'а и Совнаркома. Чем меньше живет и работает в Кремле людей — тем меньше по-

стороннего народа туда проникает, тем меньше и опасных в случае чего элементов из собственной среды. В то же самое время в Кремль стали переводить некоторые части партийного аппарата — наиболее секретные, обслуживающие непосредственно диктатора Сталина.

В то же время количество «сановников» последнее время сильно увеличилось. В Москве человек, т. е. сановник, начинается с члена коллегии народного комиссариата. Сейчас народных комиссариатов стало больше, число членов коллегии все возрастает, их уже несколько сот. К ним надо прибавить членов ЦК партии и ответственных работников партийного аппарата — в нем человек начинается с секретаря губкома или райкома в Москве; затем — несколько сот членов ЦИК'а и ВЦИК'а, членов центральной контрольной комиссии, живущих в Москве; директоров наиболее крупных хозяйственных учреждений.

Вся эта огромная масса в несколько тысяч человек, да еще со своими многочисленными семьями, ясно, в Кремле уместиться при любых обстоятельствах не может. Кремль, поэтому, это место жизни только самой ограниченной верхушки с ее паразитическим окружением. Остальные помещаются либо в квартирах своих учреждений, либо же в многочисленных домах ЦИК'а и Совнаркома, расположенных большей частью неподалеку от Кремля. Наибольшее количество «людей Кремля» живет в огромных домах Шереметевского переулка. Для служащих ЦИК'а и Совнаркома построен недавно — довольно далеко, правда, от центра, от Кремля, огромный дом со всеми удобствами, даже с кинематографом на 1500 человек.

II.

Справедливость требует признать, что жизнь Кремля в общем не очень сейчас роскошна. Иначе жили в нем в первое время, когда там царили аристократы эмиграции — Троцкие, Зиновьевы, Каменевы. Они не только изголодались и исголодались за свою эмигрантскую жизнь. Они насмотрелись в ней на жизнь правящих верхушек западного общества, в ней, в этой жизни, видели свой идеал, к которому завистливо и жадно в глубине души стремились. Для них первым завоеванием революции была возможность устроить с максимальным удобством и с максимально возможной роскошью свою жизнь. И они не отказывали себе ни в чем. Выбирали наилучшие дворцовые квартиры, обставляли их самыми дорогими и блестящими вещами, обставляли себя и в прочих отношениях всей возможной роскошью. Все это, конечно, было грубовато, порой смешно, как расшитый золотом кафтан аристократа не укулющем теле вчерашнего плебея, все это было и относительно, ибо слишком широких возможностей и им жизнь, хотя бы и за стенами Кремля, но в голодавшей стране — не могла дать. Надо было к тому же озираться на окружение, на рабочих, до которых доходили слухи о «широкой жизни» в Кремле. И все-таки их тогдашний образ жизни был резким и бесстыдным диссонансом в общей жизни страны, голодной и раздетой. Скромнее всех жил, конечно, Ленин — ни в чем почти не изменив своим тюремным и эмигрантским привычкам. Но он смотрел сквозь пальцы на жизнь других. Он знал, что этому сорту людей надо дать возможность насладиться тем, чего они и от

рождения, в большинстве, и по обстановке их прежней жизни были лишены. Что именно этим можно их держать в руках — и именно за эту жизнь, а не за какие то отвлеченные идеалы, будут они напряженно, руками и зубами бороться. Только в тех случаях, когда начинались злоупотребления — как это было с управляющим делами совнаркома Бонч-Бруевичем, или с председателем малого совнаркома Козловским — Ленин вмешивался, расправлялся порой круто и решительно.

Сейчас тон жизни Кремля определяют Сталин и Молотов — оба люди очень скромные, очень требовательные не только к себе, но и к другим. Особенно требователен Молотов. Да и те новые люди, что пришли сейчас в Кремль, тоже иного сорта, чем аристократы эмиграции: примитивнее, но здоровее в своих потребностях и вкусах, а главное — честнее с самими собой. Жизнь в Кремле поэтому стала значительно скромнее. Это теплая, уютная, сытая, слишком даже сытая жизнь. Сановники Кремля имеют все удобства — и прислугу, и автомобили, и обильную пищу, и одежду. Но и только. Никаких «излишеств», никаких «оргий», разгула, т. е. ничего такого, что обычно обывательская фантазия так охотно приписывает всякому двору — и пышно-изысканному императорскому и грубоватому еще «пролетарскому», солдатскому. Бывают, конечно, вечеринки. Порой приглашают на них артистов и артисток государственных театров. Пьют вино — особенно восточные люди, грузины. Поют песни. Танцуют иногда. Но все это в общем грубовато-скромно, довольно семейно, напоминает чиновничьи вечеринки прежнего провинциального города.

Как то иностранцы спрашивали меня:

— Скажите: есть светская жизнь в Кремле?

— То-есть? . .

— Ну, званые обеды, балы, чай у дам . . .

Нет, конечно, званых обедов в западном «светском» смысле в Кремле не бывает. И, конечно, не бывает ни балов, ни «журфиксов» у дам.

В Кремле собираются иногда закусить друг у друга, поболтать по душам. Больше к чаю, созвонившись по телефону, а то и просто заходя — «на огонек». Скатерть, конечно, чистая — белье казенное, стирка тоже. Иногда, впрочем, вместо скатерти клеенка: привычнее, удобнее. Все съестное, что есть в доме — остатки обеда, разная закуска — в беспорядке разставлено на столе. Сытно, вкусно: в Кремле любят и умеют поесть, это одна из немногих радостей, какие дает высокое положение. Но никакой особой сервировки, никаких украшений, никакой, естественно, специальной раскладки по рангам за столом. Кому где понравилось, там и сел. Самовар бывает не у всех. Чаще — просто чайник, обычно фарфоровый, из старых дворцовых запасов с черным императорским гербом на боку, с кипятком из общего кухонного кипяtilьника. Посуда, ножи, вилки — все казенное, часто сборное, разнокалиберное. Есть и старая дворцовая посуда с орлами, так называемая «расхожая» (старые парадные сервизы, что остались непобитыми от первых лет революции, стоят под замком в дворцовых кладовых, и вынимаются только для парадных приемов правительства), есть и новая советская — простая белая, неровная, с трещинками.

Иногда на столе и водка и вино. Этого в советской стране изобилие. Есть, конечно, и любители вы-

пить. Но границы в выпивке переходятся редко. А многие из советских сановников и вовсе не пьют.

Конечно, ни смокингов, ни фраков. Вероятно, во всем Кремле найдется не больше трех-четырех смокингов — у побывавших на дипломатической службе за границей. А так все ходят в пиджачках, в мягких рубашках, иногда без галстука; иногда в косоворотках, в толстовках; некоторые всегда носят военную форму — удобнее. Члены правительства, даже появляясь на обедах с иностранцами, в большинстве обходятся без смокингов и фраков. Эти облачения одевают только советские дипломаты, а из сановников только те, кому самим очень уж нравится быть «ком-иль-фо». Таков, например, Луначарский: он даже на дневные чаи к иностранцам ухитрялся приходить в смокинге.

Женщины, конечно, следят за модой, особенно те, что помоложе. В Москву проникают заграничные модные журналы — и по ним творят «последнюю моду» обычно с запозданием на несколько месяцев — находящиеся в ведении ГПУ модные мастерские. И высокие сановницы приходят туда. Там их обмундировывают со скидкой. Мужья и друзья привозят им разные вещи и из заграницы: шелковые чулки, белье, шляпки, духи, безделушки, иногда даже платья. Не бальные платья, конечно—это опять есть только у жен «дипломатов», в обыденной московской жизни, особенно в Кремле, они ни к чему—но добротные закрытые платья. За молодежью тянется — сначала жеманясь, стесняясь, потом все смелее, и старая женская гвардия. Так и в Кремль пробивается женскими руками окно для влияний «гнилого Запада».

Разговоры? — Разные, обо всем. И о новой пьесе, и о новой книге. Но больше всего, конечно, о людях,

о внутренних интригах. Ведь этим живут, это ночью и днем в центре внимания.

Мебель, внешнее убранство квартир — все это старое, дворцовое. Некоторые квартиры обставлены прекрасно — старинной мебелью, драгоценными коврами, редкой бронзой. Этих вещей в Кремле много — на разный вкус. Последнее время, впрочем, их стали собирать — для вывоза за границу. Но не все отдают. Среди этих вещей можно найти и уникалы. Квартира Рудзутака, например, — он, живет, впрочем, вне Кремля, — это прямо музей. Этот человек, такой грубоватый на вид, с деревянными и как будто лишенным всяких чувств лицом, обладает очень тонким, даже изысканным художественным вкусом, прекрасно разбирается в старинных вещах. Ему его коллекционерство некоторые ставят в вину. Но надо посмотреть на дело и с другой стороны. Он спас от разрушения и вывоза за границу немало ценностей, которыми может гордиться Россия.

Некоторые квартиры — это какой то неподдающийся описанию кавардак стилей, эпох, красок, формы. Натаскали все, что можно было натаскать.

Большинство же имеют какой то нежилой вид — будто гостиничные номера. Видно, что хозяевам внешнее безразлично. В квартире они едят, спят — и только.

Наиболее типичны, одна как другая, квартиры, в т. н. фрейлинском и кавалерском корпусах дворца, особенно те, что тянутся по внутреннему корридору. В каждой квартирке две комнаты. Комнаты небольшие, со сводчатыми потолками. Окна выходят в корридор — и проходя им, можно иногда видеть и внутреннее убранство комнаты и ее жизнь. Мебель старая, боль-

шей частью так называемая «бабушкина», — рококо XIX века, из ореха и красного дерева, мягкая, удобная, с репсовой обивкой. Просторнее и уютнее квартиры, выходящие на улицу. В некоторых — комнаты такой величины, что в одной можно уместить целую квартиру новых кооперативных домов.

А вот типичная квартира среднего значения наркома и члена ЦК партии, не во дворце, а в одной из прилегающих старинных построек.

Избитая за двести с лишним лет каменная лестница, не широкая, уныло освещенная простой лампочкой. Ковра нет. Грязновато. Вы подымаетесь во второй этаж — и прямо с широкой лестничной площадки проходите в первую дверь квартиры. Просторная комната — кабинет хозяина. Ослепительно начищенный крашеный пол. Бухарский темно-красный ковер. Мебель эпохи Николая I, красного дерева. Такой же письменный стол и массивный книжный шкаф. Несколько новых английских кресел красной кожи. Все имеет какой-то казенный, нежилой вид. Да здесь никто и не живет, не работает. Вряд ли хозяину квартиры удастся пробыть здесь больше получаса в день. С утра и до поздней ночи он на работе. Когда дома — сидит в столовой, там собирается вся семья. Это же — своего рода парадная комната, только для показа.

Следующая — что то вроде маленькой гостиной. Узкая проходная комната, заставленная обитой шелком старинной мебелью. Здесь же неизменная тахта — принадлежность почти всех «приличных» московских квартир. На ней спит мать хозяйки дома.

Следующая — столовая. Также небольшая комната, которую всю почти занимает огромный обеденный стол. Этот стол, да стулья составляют все убранство.

Дальше супружеская спальня, довольно уютно и даже кокетливо обставленная. В стороне за корридорчиком — кухня и комната прислуги.

В том же этаже квартира другого сановника — более влиятельного и более многосемейного. Она значительно больше. Одна просторная комната отведена под собак — слабость этого бывшего члена политбюро.

Самые роскошные квартиры те, что помещаются в главном корпусе дворца. Здесь комнаты огромные, обтянутые шелком, либо деревом, заставленные драгоценной мебелью. В одной из таких квартир жил прежде Каменев. Там царила и разыгрывала из себя «первую даму государства» его жена, небезызвестная Ольга Давыдовна, сестра Троцкого. Н. К. Крупская, занятая работой, неохочая вообще на «светскую» жизнь, охотно уступала ей эту пышно-ничтожную роль. Сейчас все это великолепие кончилось.

III.

Хотя при многих кремлевских квартирах имеются кухни, и жены ведут свое хозяйство — сановники предпочитают питаться в «совнаркомовской столовке». Это огромный кремлевский ресторан, устроенный в кавалерском корпусе дворца. Там собирается после официального конца канцелярских занятий — после пяти часов — для обеда почти вся сановная Москва. Как только человек становится человеком, т. е. членом кол-

легии наркомата, как он получает право обедать в совнаркомовской столовке. Это своего рода клуб, где узнаются все новости, откуда разносятся сплетни, где складываются очередные анекдоты.

Здесь кормят обильно и вкусно. Настоящий немного тяжелый русский стол. На столах кувшины молока и хлебного кваса. Душистый хлеб из своей пекарни. Пирожки с капустой и мясом. Те же пирожки и разные бутерброды разносятся по утрам в кабинеты работающих в Кремле сановников.

Европейского «ленча» в Москве не знают. Все ограничивается чаем с пирожками и бутербродами для сановников, с сухим куском хлеба для простых смертных. Чай, впрочем, пьют все время и за работой и в заседаниях. Чай и табак — это основное, чем поддерживают свою работоспособность большинство правительственной Москвы. Вообще регулярности, гигиены в жизни не так еще много. Поэтому все почти из московских сановников — особенно старшего поколения — чем нибудь да больны. Влияет сидячая жизнь, отсутствие физических упражнений, слишком тяжелый и обильный стол. Ожирение, болезни сердца, почек — наиболее распространены. Часты случаи отравления никотином. Так чуть не погиб от этого Пятаков — и несомненно потерял свою прежнюю работоспособность.

Некоторые предпочитают обедать дома. Им и семьям других обед приносится из кремлевской кухни в судках прислугой. Те, кто живут вне Кремля, но по рангу имеют права на тамошние привилегии, получают на свои семьи повышенный паек, который должен заменить им кремлевские обеды. Но и те, кто столуются в Кремле, получает паек: сыр, икру, масло, колбасу, муку, папиросы, вино и пр. Пакет этот стоит ничтож-

ную сумму — по нынешним московским ценам дается, собственно, почти даром.

Вообще Кремль и все причастные к нему лица живут своим изолированным от Москвы и страны барским хозяйством. Свои продовольственные и материальные склады, в изобилии всем снабженные. Оттуда, кроме продовольственного пайка, выдаются и все предметы, необходимые для жизни — одежда, обувь, посуда . . . все, вплоть до дамских меховых манто. Своя булочная, своя аптека, своя парикмахерская, своя лечебница с лучшими врачами страны, свои гаражи . . . все свое.

Кремль — это собственность и ведение союзного ЦИК'а и Совнаркома. Но главным распорядителем в Кремле является ЦИК — и это, пожалуй, одна из самых главных работ этого почтенного учреждения, по конституции долженствующего быть верховным органом власти советской страны.

Во главе хозяйственного управления стоит один из членов ЦИК'а, т. е. опять по конституции один из членов правительства. И надо сказать, что его работа немаленькая. Ведь надо заботиться не только о тех, кто живет в Кремле, но и о всех других сановниках, живущих в разных концах Москвы и под Москвою. И заботиться не только в отношении квартиры, ремонта и поддержания домов, мебели, всякого инвентаря, но и в отношении снабжения этих сановников всеми кремлевскими благами. Затем — всякого рода дома отдыха, санатории, дачи и загородные дворцы и под Москвой и по всей России. Все это надо содержать, обслуживать, снабжать всем необходимым, ибо обычно живут здесь на всем готовом, ни за что не платят. Все это стоит не только громадных денег, но и огромного труда.

Высшее решение по всем вопросам хозяйственного обслуживания советской знати принадлежит секретарю ЦИК'а, родственнику Сталина, Авелю Енукидзе. И пожалуй львиная доля времени этого по формальному своему рангу второго или третьего сановника государства уходит именно на эти дела. Удовлетворить аппетиты людей власти — особенно тех, кто поменьше, или кто только что дорвался до правительственных благ, кто еще девственно жаден — не так легко. Здесь нужна большая инициатива и еще больший такт. Из маленькой обиды на этой почве может легко в дальнейшем вырасти принципиальная, политическая рознь и борьба. Надо быть всегда на чеку, надо уметь определять в каждый данный момент удельный вес каждого, знать, как с кем говорить, знать, кого нужно удовлетворить всем без отказа, кого можно немного поприжать, кого можно попросту выбросить за дверь.

Снабжать людей власти приходится всем — вплоть до денег.

Все сановники — вплоть до наркомов и членов политбюро — получают одинаковое жалованье, то же по размеру, что и все ответственные партийные работники их учреждений, — так называемый «партмаксимум». Это установлено давно, еще во времена Ленина. Это отголоски идеализма первых времен революции, когда хотели подражать примеру кратковременной и потому не успевшей разложиться в бытовом отношении парижской коммуны. До недавнего времени партмаксимум был немногим больше 200 рублей, сейчас это 300 с небольшим, — сумма ничтожная, даже при покупке всего по казенным ценам. Кое-как на жалованье могут прожить те, у кого работают жены. Но это не у всех. И большинству жалованья не хватает, особенно тем,

кто живет вне Кремля, содержит одну или две прислуги, питается дома. Одна оплата квартиры и прислуги, да разные вычеты и взносы поглощают часто все жалованье. Откуда же брать недостающие деньги? Денежные аппетиты советских сановников в общем не так уж велики. Больших денег ведь и девать некуда. Но откуда взять и небольшие деньги, если они нужны?

Некоторые — как в свое время Луначарский, Демьян Бедный, Радек, Ярославский — зарабатывали громадные суммы от книг, статей, пьес, стихов. Подрабатывали — хотя и меньше — тем же способом и другие сановники. «Литературный заработок» был узаконенным обычаем увеличением жалованья — и иногда весьма солидным увеличением. Некоторые и ничего сами не писали, но получали за «редактирование». Им приносили то или иное ведомственное издание, они ставили на нем свой гриф, на обложке писалось: под редакцией такого то, и такой то получал «редакторский» гонорар. Сейчас гонорары стали меньше, за правильностью их выплаты строго следят, ведомственные издательские возможности ограничены — прежде всего по самой элементарной причине, из-за отсутствия бумаги — общий размер гонорара, который можно получать, нормирован, излишки должны быть сданы в партийную кассу, — сейчас стало туже и всем, промышлявшим прежде «литературой». Но, впрочем, и прежде не все хотели и не все могли прибегать к этому способу добывания денег. Что же им оставалось?

В распоряжении всякого наркома имеется его личный фонд — обычно около сорока тысяч рублей в год. Формально он отчитывается в расходовании этого фонда перед председателем совнаркома, фактически же

распоряжается им безотчетно. Фонд этот предназначен на расходы, которые не предусмотрены бюджетом ведомства. Как правило — из этого фонда выдаются единовременные пособия и регулярные прибавки к жалованью ответственным работникам. В некоторых наркоматах члены коллегии каждое первое число получают из этого фонда в конвертике небольшую добавку к жалованью. Но фонд относительно невелик, членов коллегии тьма, приходится удовлетворять еще и других ответственных работников, — и потому постоянно вереницы советских сановников тянутся к Енукидзе. То за получением регулярной прибавки уже из сумм правительства, то за покрытием сделанных долгов, то за отдельной суммой на экстренные какие нибудь расходы. Отказывают редко кому. Енукидзе и по натуре очень добрый человек, умеет входить в положение другого, да и трудно вообще отказать. Не толкать же руководящих работников государства на взятки, растраты и пр.

Особенно много просителей такого рода у Енукидзе в летнее время, в период отпусков. Что из того, что каждый сановник получает бесплатное место с полным пансионом, с врачами, лекарствами и пр. в каком нибудь санатории, что проезд по железной дороге для него туда и обратно тоже бесплатен, — нужны ведь еще какие нибудь деньги на разные мелкие расходы, на поездки какие нибудь, на развлечения, просто на выпивку, мало ли на что; надо как то устраивать еще семью, ибо брать семью с собой не всем разрешают, это привилегия только особо крупных сановников, а обычно же врачебные комиссии находят, что отдых без семьи гораздо продуктивнее. Правда, и семью можно устроить со всякими льготами, и проезд ей по зна-

комству можно выхлопотать даровой или льготный, но все-таки деньги нужны — и большие, чем жалкие остатки от жалованья. И вот Енукидзе выдает по несколько сот рублей, иногда по тысяче, по две — в зависимости от ранга и влияния.

Если сановник мечтает о заграничной поездке — а о ней мечтают многие — то дело сложнее. Особенно последнее время, когда особо остро стало с валютой. Здесь надо иметь постановление врачебной комиссии при центральном комитете партии, устанавливающее, что болезни такого то высокого лица на русских курортах излечить нельзя. Конечно, людям с влиянием довольно легко раздобыть у врачей такое удостоверение. Медицина вещь темная. Сталин не будет сам выслушивать и осматривать. Но Сталин прекрасно знает, что в большинстве случаев такие удостоверения — дутая вещь. И когда заключение врачебной комиссии поступает на рассмотрение решающих органов центрального комитета партии — тот же Сталин, или Молотов, или еще ктонибудь, обычно в последнее время накладывают свое вето. Нечего тратить валюту, пусть-ка врачи поломают голову и найдут такой русский курорт, где и данную болезнь можно излечить. И только в тех случаях, когда мечту сановника о заграничной поездке надо удовлетворить по тактическим соображениям — центральный комитет постановляет: в виду исключительных особенностей болезни разрешить такому то заграничное лечение. Наркомфину дается указание об отпуске нужной суммы в валюте за счет центрального комитета.

Большие хлопоты бывают у хозяйственного управления Кремля в связи со съездами советов. Съезжаются тысячи делегатов, всех надо устроить, кормить,

развлекать. То же при съездах партии и Коминтерна. Для этих целей имеются специальные гостиницы, в которых в обычное время живут приезжающие в командировку высокие провинциальные чиновники. Большие хлопоты — за непривычкой — причиняет устройство банкетов. Так ежегодно в Большом Кремлевском дворце устраивается правительством большой парадный банкет для выпускаемых из военных училищ красных офицеров. Последнее время в Кремле же стали изредка устраивать и приемы для иностранных дипломатов. Но здесь больше хлопочет опытный в этих делах Наркоминдел — неутомимый его шеф протокола Флоринский.

IV.

Прежде на улицах Москвы изредка можно было увидеть того или иного члена правительственной верхушки. Можно было увидеть Калинина, торопливо бегущего от Троицких ворот Кремля к приемной ЦИК'а и Совнаркома на Моховой. Рыков часто ходил пешком — то в театр, то — особенно в праздничные дни — просто разгуливая по улицам. Часто можно было увидеть всегда смеющегося и оживленно болтающего с кемнибудь Бухарина — в толстовке, в кепке, с огромным портфелем в руке. На Кузнецком мосту или на Петровке даже в дневное время, в часы работы, можно было в какомнибудь магазинчике увидеть Рудзутака, медленно, методически выбирающего галстук или рубашку. Даже Дзержинский иногда ходил пешком в

своей длинной солдатской кавалерийской шинели, с фуражкой или барашковой шапкой на голове. Шел торопливо, прямой, высокий, как жердь, но все-таки иногда засматривал в витрины магазинов. Топтался в праздничные дни вокруг здания Наркоминдела Чичерин. Сейчас этого нет. Встретить на улице, пешком, в толпе обыкновенных смертных, члена политбюро сейчас почти нельзя. Только сановники второго ранга свободно ходят по улицам. Уже редко наркомы. Настоящие же «вожди» показываются народу только в торжественные дни, во время праздников или похорон — на особых отгороженных и строго охраняемых местах. Или проносятся по улицам Москвы в быстрых автомобилях, которые снабжены особыми знаками, дающими им право не останавливаться и у трамвайных остановок. Здесь сказывается прежде всего боязнь покушений. Волна террористических актов, пронесшаяся над Россией в последнем году, сильно подействовала на правительство. Прежде больше надеялись на ГПУ, на общую запуганность населения. А теперь... Разве не убили у входа в само ГПУ, среди бела дня, брата заместителя председателя этого учреждения, Мессинга? И убийцы скрылись, их так и не нашли.

Если высокий сановник хочет развлечься — он не идет, конечно, на улицу. Вызывает автомобиль, едет к знакомым, чаще всего уезжает за город. ЦИК организовал под Москвой такие дома отдыха, куда можно приезжать на одну ночь. Автомобиль доносит в час, в полчаса. Там природа, надежная охрана, ужин, мягкая постель, часто веселое общество. Утром возвращаются в Москву.

Но чаще всего в свободные вечера ходят в театр. Платить не надо. У правительства в каждом театре

свои ложи, куда пускают по общеправительственным, кремлевским пропускам. Внутренность этих лож обычно скрыта от глаз публики — можно сидеть совершенно незаметно. Некоторые, впрочем, как Ворошилов, Карахан, Крестинский, др., сидят открыто. Им нечего бояться. Но Сталин всегда в глубине ложи, скрытый от сторонних глаз.

У каждого сановника есть свой излюбленный театр. В большинстве случаев вкус определяется здесь не только тем или иным уклоном в отношении к искусству, сколько более интимными побуждениями. Для всех не слишком строгих нравами членов правительства — а таковых большинство — и не переваливших еще за предельную черту, за которой успокаиваются страсти, советский театр является поставщиком нежных чувств. Иногда это более грубо, иногда с оттенком возвышенности, искренней привязанности, иногда это постоянно, иногда слишком даже переменно, — но театр всегда и для большинства некий просвет в их нудной жизни, отдушина, откуда притекает воздух, кажущийся свежим, какое то движение нервов, страстей. Артистки — не обыкновенные женщины, не пресные «партийки», — на них печать одаренности, ореол ролей, какие они творят, которые поднимают их над жизнью. Артисткам к тому же разрешается многое, чего не могут позволить себе жены сановников: они могут смелее, ярче, моднее одеваться, сильнее краситься, обвешиваться побрякушками. Все это влечет людей правящей Москвы, в общем грубоватых, примитивных, падких на все яркое, на все, что блестит.

А артисткам тоже нет иного выхода, как отвечать взаимностью, искренней, полуискренней или деланной, на сановную страсть. К тому же нравы Москвы

простые, быть «прюд» там не в моде ни для кого, только засмеют. Считается: «не убудет». Выиграть же много можно — в смысле влияния, в смысле сценической карьеры, в смысле тех или иных, иначе недоступных жизненных благ. А тут еще давит ГПУ.

Значительнейшая часть артисток в руках ГПУ. Не ладить с ГПУ, не выполнять его поручений — иногда самых отвратительных — нельзя. Можно иначе поплатиться всей своей сценической карьерой, всем будущим, всей жизнью. Могут пострадать и родные. Только очень уж крупная артистка может отказаться от слишком унижительного поручения ГПУ — да и то до поры до времени, ибо рано или поздно скрутят и ее. Вот и ладят. Привыкли к цинизму ГПУ — сами стали под влиянием жизни достаточно циничными. Через женщин театра ГПУ проникает не только в круги иностранцев и тех или иных обыкновенных граждан Москвы — через них же оно проникает и в спальни и в души членов правительства. Вот почему ГПУ усиленно культивирует увлечения членов правительства театром.

Иногда, впрочем, здесь получают неприятности. Артистка, которую свели с одним из крупнейших сановников страны, вдруг решительно отказалась работать на ГПУ. И в виду высокого покровительства, какое ей оказывалось, ГПУ долго ничего не могло поделать. Но сердце человеческое изменчиво. ГПУ увлекло сановника другой женщиной. И непокорная артистка отправилась в ссылку, на север. Иногда бывают истории с неприятным концом для ГПУ. Ворошилову подослали артистку. Он искренно увлекся ею. И вдруг узнал, что она просто-напросто следит за ним. Ворошилов отправился на квартиру к заместителю председа-

теля ГПУ, Мессингу, избил его, а потом потребовал у политбюро его немедленной отставки. Ворошилов — сила. Мессинг вылетел в 24 часа.

По всем этим причинам — и потому еще, что правители всех эпох и всех человеческих слоев всегда имели слабость к меценатству — театр играет большую роль и в жизни и в работе советского правительства. Особенно Большой московский театр. Его по праву, пожалуй, можно назвать непосредственно высшему правительству подчиненным органом, своего рода отделом и продолжением Кремля. Вопросы этого театра часто отымают у высших сановников не меньше времени и нервов, чем иные сложные государственные вопросы. Через каждые несколько месяцев обычно приходится разбирать очередной скандал в этом театре: то балет выступает против оперы, то в балете одна группа возстанет против другой, то молодежь возмутится стариками, то наоборот. И почти каждые несколько месяцев происходит смена директора театра. Кто только не перебивал на этом многотрудном посту. И старая партийка, Малиновская, и эстет и «дипломат» Лапинский, назначали сюда и хозяйственника, назначали твердого военного. Все приходили — и через несколько времени опять уходили. Управлять Большим театром сложнее, чем иным государством. Уж слишком много скрещивается здесь самолюбий, интересов, влияний правительственных верхов. А помимо всего прочего — советская власть и гордится этим театром, имеющим мировое имя. Не раз и не два подымался вопрос об упразднении этого театра — и денег де он поглощает уйму, и не годится содержать такой театр, особенно балет, старый классический балет, рабоче-крестьянскому правительству. Ведь что такое в конце

концов этот балет? — Пережиток барско-феодалных времен, нечто совсем несозвучное пролетарской эпохе. И тем не менее Большой театр всегда выходил невредимым из всех споров — и спасал его, несомненно, именно «пережиток феодальных времен» — балет, классический балет . . . и балерины.

Главным распорядителем судеб театров — и особенно Большого — является Енукидзе. Но вмешиваются в дела этого театра и другие — Ворошилов, Рудзутак, Сталин держится в этом вопросе нейтрально, только улыбается, когда слышит о новой буре и «дискуссии» на театральной почве. Это для него не страшно, это не политика, не экономика. . . пусть! Сам Сталин большой поклонник музыки — и часто бывает в Большом театре. Рыков всегда покровительствовал опере и еще Московскому художественному театру. Вообще у него «уклоны» серьезные и вполне добродетельные. Луначарский, будучи еще наркомом, по должности покровительствовал всем театрам, по жене — Малому. Впрочем, от этого покровительства Малый театр только стонал, так как сводилось оно главным образом к требованиям предоставлять мадам Сац — довольно таки бесталанной артистке — главные роли. Но это наткнулось на дружное сопротивление всей труппы — и в конце концов Луначарская примирилась с ролями горничных и с должностью члена правления Малого театра. Семашко — не из любви к искусству, но по нежности чувств — усиленно поддерживал всегда оперную студию Станиславского. Каменев, а за ним, как бы по наследству, старичек Калинин, полюбили оперетту. На этой почве у Калинина произошел недавно открытый скандал. Он ехал с примадонной оперетты, Татьяной Бах, довольно крикливо разодетой,

в автомобиле за город. Что то застопорило уличное движение — и в предместьи Москвы, в рабочем квартале, им пришлось остановиться. Калинина узнали. Собралась толпа рабочей молодежи. Посыпались острые замечания, ругательства, а потом и камни и комки грязи. Пришлось вмешаться милиции, расчистить дорогу для автомобиля, который под хохот, ругательства и свистки укатил. Но на другой день у «всесоюзного старосты» было пренеприятное объяснение со Сталиным, который категорически потребовал прекращения опереточных демонстраций на улицах Москвы.

Некоторые из членов правительства — Литвинов, например, Сокольников, когда тот был в Москве — очень любят серьезную музыку и стараются не пропускать ни одного из серьезных концертов.

Между прочим: артисты и артистки — это та часть беспартийной русской интеллигенции, которая чаще всего встречается с правителями России. Но нельзя сказать, чтоб они оказывали на правящую Москву хорошее, облагораживающее влияние. Более-менее независимо держится еще молодежь, боле уверенная в себе, мало еще трепанная и испытанная жизнью. Но помыслы этой молодежи заняты по преимуществу профессиональными интересами. В русских театрах идет самая ожесточенная борьба за существование, за роли, за оклады, поэтому громадное место и в интересах и в разговорах артистического мира занимают распри с другими, сведение личных счетов, жалобы, подсиживания. Хуже всего держатся артисты старой школы — за немногими исключениями (Нежданова, например, Барсова). Некоторые — без видимой даже в том надобности — невероятно прислужаются, подхалимствуют. Пальму первенства в этом отношении надо от-

дать Собинову. Этот знаменитый певец, который, казалось, мог бы держаться достаточно независимо в силу одного своего имени, подхалимствует перед людьми власти, как никто — и готов на все.

V.

В местах публичных развлечений, в немногочисленных ресторанах и кафе Москвы, высших представителей власти встретить нельзя. Впрочем, сейчас рестораны вообще стали доступны только иностранцам, советский обыватель избегает ходить туда — и потому, что денег на это нет, и потому, что боится ГПУ. Ходят туда только люди, которым предписано общаться с иностранцами, либо любопытствующие провинциалы. Но сановники — никогда.

Есть, правда, пара другая и «советских» ресторанов. Это прежде всего знаменитый «Кружок» на Тверской, да еще клуб писателей на Тверском бульваре при доме Герцена.

В «Кружке» прежде можно было встретить среди постоянно бывавших артистов и немногих тогда еще уцелевших «нэпманов», кое кого и из правительственных сфер — конечно, второго только сорта. Довольно часто бывал там с женой Луначарский. Бывал Демьян Бедный, питавший большую слабость к угощению «нэпманов». Но сейчас Демьян Бедный постарел, перестал, по строгому настоянию врачей, пить, да и нэпманов не стало, и у самого Демьяна денежные дела пошли на убыль: его почти не печатают, платят мало,

не 5 рублей за строчку стиха, как прежде. Весь «Кружок» захирел — и поддерживается сейчас только для иностранцев. Содержит «Кружок» ГПУ. Клуб писателей попроще — и потому оживленнее. И на нем лежит рука ГПУ.

Премьеры новых пьес — вернее, генеральный просмотр их — вот где можно увидеть весь правительственный, весь кремлевский бо-монд. Но на эти премьеры попадают, конечно, только избранные, т. к. в общее распределение билеты на них не попадают. Часто, между прочим, после такого просмотра в пьесу вносятся изменения: это отражение впечатлений правящих сфер.

Из таких премьер, осевших у меня в памяти, наибольшее впечатление произвела пьеса Булгакова «Дни Турбиных» в постановке Художественного театра. Не только сама пьеса, не только игра производила впечатление, но и то, как ее воспринимала правящая верхушка Москвы.

Содержание пьесы всем, конечно, известно. Это описание белого офицерства в эпоху гражданской войны. Первоначально пьеса называлась так же, как и соответственный роман Булгакова, «Белая гвардия». Но это название воспретили. И самый текст пьесы сильно обкарнала цензура. И тем не менее это было нечто необычное для советского театра.

В нормальной советской пьесе белый офицер — это изверг, злодей, предатель, трус, разбойник, все, что угодно, но только непременно самое мерзкое, самое отталкивающее. Это не человек. А здесь по сцене ходили л ю д и, самые обыкновенные люди, не слишком хорошие, не слишком дурные, такие же, как и все мы, переживали то, что когда то переживали и мы, но

с другой стороны, волновались высокими и обыденными чувствами, способны были подняться до героизма, способны были просто и незаметно войти потом и в нашу советскую жизнь. В первый раз белый офицер был показан в советском театре, как человек, в первый раз его изображение вызывало не злобу, не ненависть, не презрение, а сочувствие.

— Да ведь это же мы, случайно оказавшиеся на той стороне, как по случайности судьбы оказались мы на этой — так невольно думал я, в такой мысли формулировалось общее впечатление от пьесы. И вспоминался брат, который с *той* стороны погиб где то под Харьковом. Другой — тоже бывший на *той* стороне, отравившийся, когда его пришли разстреливать под Киевом...

То же, вероятно, или примерно то же думали, ощущали и все остальные, сидевшие в тот вечер в этом зале. Помню: у Рыкова было невероятно напряженное, серьезное лицо, Томский перестал улыбаться, а на глазах у Цурюпы стояли слезы.

Через некоторое время мы сидели как то вечером на московской квартире одного из заграничных полпредов. Были «свои» — и разговор шел откровенный. Некоторые говорили, что пьеса вредна, что она будит вредные чувства, ослабляет ненависть к белым, понижает остроту враждебности.

Цурюпа — тогдашний зампред совнаркома — самым горячим образом возражал. Не помню всех его аргументов. Говорил он волнуясь, страстно, чувствовалось, что глубоко пережил, перечувствовал пьесу, что задела его за живое. Он говорил, что, наоборот, ее надо провезти по всей России, всюду, особенно в рабочих центрах, показать.

Его усиленно поддерживал обычно молчаливый наркомпочтель И. Смирнов.

... Из последних пьес в Москве произвела наибольшее впечатление, как мне сообщали, пьеса Ю. Олеши: «Список благодеяний».

В ней трактуется тема о взаимоотношениях советской власти и русской интеллигенции. Каждый русский интеллигент, говорит пьеса, ведет в своей душе перечень благодеяний и преступлений, какие в отношении него совершила советская власть. Чего больше? — Автор показывает, что перевешивают все-таки благодеяния. Но часть советской критики правильно отметила, что такой ответ не убеждает, что зритель уходит из театра все-таки с неразрешенным вопросом.

Вокруг этой пьесы была большая полемика. И ее исказили переделками, и ее хотели совершенно снять. Только заступничество некоторых кремлевских верхов ее спасло.

VI.

Лето. С мая по сентябрь жизнь в московских учреждениях затихает. То же и во всех прочих городах России. Время отпусков. По правилу отпуска должны предоставляться в течение круглого года, чтобы не нарушалась нормальная жизнь и работа. Но никому не хочется отдыхать осенью или зимой. Все мечтают о солнце, купаньи и пр. И в результате большая часть отпусков сбивается на летние месяцы. Не раз бывало, что из за отпусков срывались те или иные

планы, замедлялось строительство, с запозданием производилась подготовка к хлебозаготовкам. Особенно бьет по учреждениям и предприятиям то, что разъезжаются все ответственные, решающие работники, остаются заместители, не во всем достаточно полномочные, многое откладывающие до приезда «хозяина». Верхи советской власти борются с летними отпусками, пытаются внести здесь строгий порядок, обеспечить бесперебойную работу, — но мало что получается, потому что с первым жарким солнцем разъезжается обычно и значительная часть самих верхов.

Советские сановники, за исключением немногих «счастливых», которым разрешили заграничную поездку, отправляются на русские курорты. В каждом мало-мальски значительном курорте имеются дома ЦИК'а, Совнаркома, ЦК партии. Иногда это небольшие виллы, либо бывшие великокняжеские и аристократические дворцы для отдельных лиц, для небольших групп, иногда огромные гостиницы для массового отдыха сановников поменьше.

Обычно те лица, которые по положению имеют право на получение места в правительственном санатории или доме отдыха должны предварительно пройти через лечебную комиссию при Кремле или при ЦК партии. Комиссия состоит из лучших врачей, очень внимательно осматривающих, определяющих, на какой курорт надо отправить того или иного человека. Определяется и срок его лечения и отдыха. В то время, как для рядового служащего и рабочего советской страны норма отпуска две недели, для чиновников выше это обычно месяц или полтора. Иной раз, при серьезной болезни, отпуск дается и на два и на три месяца.

Высоких сановников врачи осматривают особо внимательно, созывают зачастую консультации специалистов. За врачебный осмотр, конечно, никто ничего не платит: это все обязанность государства.

По заключению врачей выдается «путевка» в тот или иной санаторий, в которой обозначается срок пребывания там. При определении санатория считаются, конечно, не только с родом болезни, но и с рангом сановника. В одних и тех же курортах есть санатории более и менее привилегированные.

Прохождение через лечебную комиссию не всегда обязательно. Если человек не хочет советоваться с врачами, знает уже определенный санаторий или дом отдыха — он просто звонит по телефону в Кремль или в ЦК партии, сообщает о своем желании, указывает примерный срок — лечебная комиссия «постановляет» в его отсутствии, «путевку» ему присылают. Затем надо раздобыть денег, железнодорожный билет — и все в порядке. Высокие сановники имеют бесплатный билет 1 класса — другим выдается бесплатный билет в «жестком вагоне», к которому надо приплачивать.

... 1926 г. Я никогда еще не был на курортах советской России, если не считать Кисловодска в 1921 г., когда все еще было неустроено, в большинстве санаторий не было ни кроватей, ни иных самых элементарных удобств, и приходилось ездить и жить там в «своем» салон-вагоне. На станции Кисловодск образовался тогда на запасных путях целый городок салон-вагонов. Некоторые — более крупные сановники, которым все было тогда позволено — привозили еще с собой из Москвы на платформах «свои» автомобили.

Продовольствие поставлял местный совет. Готовила прислуга вагонов.

Звоню в ЦК партии. Говорю, что никакого специального лечения не желаю, хочу просто отдохнуть, прошу дать место в доме отдыха, только «без формальностей», т. е. без прохождения врачебной комиссии, без стояния в очередях за «путевкой» и т. д. Предлагают Крым, дом отдыха ЦК партии в Суук-Су. Отлично! Получаю «путевку» на полтора месяца, у Енукидзе — полагающуюся сумму денег; билет не нужен, так как по памяти прежней работы комиссариат путей сообщения дает бесплатный и обеспечивает отдельное купе в прямом вагоне б. международного общества до Севастополя. Вагон сплошь занят «отпускниками». Время еще сытное, упорядоченное, едем с большим комфортом. В вагоне свежее белье, подают чай с лимоном и сухарями, минеральную воду, есть вагон-ресторан.

Из Севастополя на автомобиле до Ялты. Оттуда паровозиком до Гурзуфа — и вот, наконец, Суук-Су. Можно и прямо из Севастополя или Симферополя проехать в Суук-Су: при доме отдыха несколько своих прекрасных автомобилей, которые регулярно выезжают за «гостями». Это, конечно, тоже бесплатно. Но мне хочется предварительно посмотреть пореволюционную Ялту — я не был там с конца 20 г., но тогда все было иным: мы были там через несколько дней по эвакуации армии Врангеля, все было в разгроме еще.

Останавливаюсь на два дня в гостинице, сохранившей свое «контр-революционное» название: «Россия». Гостиница, как и все в Ялте, требует ремонта. Жизнь дорога. Номер стоит 6, 7 и даже 10 рублей в сутки.

Номера грязные, с подозрительными пятнами на

обоях: очевидно или были, или есть клопы. Ночью оказывается, что есть — и в большом количестве. Белье какое то несвежее, плохо постиранное. Публика населяет гостиницу странная, непривычная для меня по Москве, где живешь, почти не замечая окружающей жизни, встречаешься преимущественно со «своим» кругом. Не надо забывать: это 26 год, нэп еще не кончился, есть нэпманы, т. е. частные люди с деньгами, и так как их не пускают в правительственные санатории, то большинство живет в гостиницах. Много «спецев», получающих большие оклады, могущих позволить себе жизнь в гостинице или частном пансионе. Наконец, артисты, артистки. По двору, когда выглядываю, прогуливается громадная фигура поэта Маяковского.

Ялта полна. В ресторанах музыка. Еда прескверная и дорогая, но много вина. Все ищут развлечения, чего то необычного, что бы хоть на неделю — на две скрасило убогую обычно жизнь. Нравы более, чем свободные. Много нездорового. Я получаю номер в верхнем этаже. Портье гостиницы предупредительно советует абонироваться у него на бинокль. Почему? — Оказывается, прямо против окон гостиницы — женский пляж... Ночью трудно спать. Перегородки тончайшие, слышен каждый вздох. Всюду шепот, заглушенный смех, ночная жизнь.

Захожу в другую гостиницу. Знакомый управляющий — был когда то моим подчиненным.

— Вам, может быть, что-нибудь устроить? Это у нас в один момент.

...Ливадия. Бывшая резиденция императора в Крыму. Там устроен сейчас санаторий для крестьян. Настоящие, не декоративные крестьяне—хотя, конечно,

цель этого санатория чисто пропагандистская, ибо проходит через него в год всего несколько сот крестьян: для «народного здоровья» ста двадцати миллионов это немного, даже не капля в море. У крестьян вид немного подавленный — повидимому тяготит, давит непривычность обстановки. Там курить нельзя, там нельзя плевать, еда подается непривычная, надзирательницы донимают нудными разговорами и объяснениями. Тоска! Содержат их хорошо, денег не жалеют. Но, говорят, многие, не дожидаясь срока, просят: «разрешите уехать».

Личные комнаты императорской семьи остались нетронутыми. Там музей. Показывают, как жил «последний тиран». Все, входящие сюда, невольно смолкают. Что-то действует в атмосфере этих комнат, из которых, кажется, только-только вышли жившие здесь люди. Кровати постланы, задернуты покрывалами. Вот на столе лежит фуражка — будто вчера забытая. Все чисто, ни пылинки, уход заботливый. Бювар на письменном столике императрицы раскрыт, на пропускной бумаге — следы письма.

Тот, кто входит сюда в ожидании увидеть поражающую роскошь — разочарован. Обстановка та же, что везде, где жила последняя императорская семья: состоятельной, но скромной европейской жизни начала XX века. Забота не об импозантности, но о личном комфорте, уюте. Люди жили здесь не на показ, а для себя... Гораздо больше роскоши в разбросанных по всему крымскому берегу дворцах великих князей и некоторых аристократов и финансовых «королей». Но их почти не показывают. Там живут и отдыхают под усиленной охраной отдельные аристократы нового режима.

VII.

Суук-Су... Прежде здесь тоже отдыхали и развлекались сановники и денежные люди. Теперь это один из наиболее привилегированных домов отдыха правительства.

Огромный парк, уступами спускающийся к морю. Много редких и для Крыма, искусственно выращенных растений. Вечерами в воздухе висит тяжелое благоухание миндаля, каких-то незнакомых цветов, раздражающее, волнующее. В окна проникает гул моря. Он тоже раздражает. В первые ночи трудно спать.

Весь участок обнесен оградой. Посторонним вход сюда строго воспрещен. Так гласит надпись у входа. И там же стоят часовые, окликающие всякого незнакомо-го. На ночь ворота закрываются. Но огромная ограда во многих местах для удобства проломана, есть еще и боковые калитки — проникнуть сюда не трудно. Но надпись и часовые действуют — и кроме гостей к живущим, да редких групп экскурсантов, сюда никто не заходит. Жители соседнего Гурзуфа побаиваются этого запретного места, где живут сплошь «большевики».

В середине парка большое здание — прежнее казино. Здесь, говорят, прежде шла высокая картежная игра, была рулетка даже, всякие увеселения. Теперь огромные нижние залы заняты под столовые, на нижней террасе играют в шахматы, читают газеты, ведут дебаты, по вечерам собирается хор; во внутренние гостиные никто почти не заходит. Наверху — несколько комнат, в которых помещается по одному человеку. По всему остальному парку разбросаны виллы гости-

ничного устройства: обычно двухэтажные, в каждом этаже корридор, по обе стороны «номера». Здесь по два человека в одной комнате. Обстановка этих комнат очень простая: кровати, стол, два-три стула, половичек на полу поверх линолеума. Комнаты в казино и отделаны и обставлены более комфортабельно.

В парке и за парком, по дороге к Гурзуфу, есть еще отдельные виллы, в которых живут особо привилегированные лица. Из членов политбюро в этом году на т. наз. «Гучковской даче» живет Зиновьев — приехавший поправляться после ударов, нанесенных ему на партийной конференции. Он уже накануне своего заката.

Живет особым хозяйством, в общей столовой не показывается. Изредка его можно только увидеть в парке. Партийные удары подействовали. Похудел, осунулся — и когда идет, то обвислые щеки буквально треплются в обе стороны: остатки и следствия прежней ненормальной ожирелости.

В отдельной вилле живет один из председателей союзного ЦИК'а, белорусский «вождь» Червяков, с семьей: женой и дочерью.

Мне отводят комнату в казино. Прислуга — обслуживавшая этот дом еще в до-революционные времена — спешит сообщить, что в этой комнате как то жил Сухомлинов. Комната просторная, очень чистая, довольно просто, но комфортабельно обставленная. Есть даже мягкое кресло.

В большой комнате напротив помещается пожилой мужчина европейской складки, которого я еще не знаю. Он тщательно выбрит, тщательнее, чем другие одет, исключительно вежлив. Когда через некоторое время ко мне приезжает жена, ее поражает эта вежли-

вость. Другие никогда не уступают ей дороги, грубо толкаются. Знакомимся. Это Хинчук, нынешний полпред СССР в Германии. Рядом с ним двойную комнату, прежде гостиную верхнего этажа, занимает жена Белобородова — тогдашнего народного комиссара по внутренним делам, теперь опального и сосланного «троцкиста». По корридорчику еще несколько небольших комнат.

Всего в Суук-Су размещается человек полтора. Иногда, впрочем, производится уплотнение — помещают больше. Кто это? — Главным образом люди партийной верхушки. Секретари губкомов, московских райкомов, председатели и члены губисполкомов, некоторые члены и ответственные работники ЦК и ЦКК; несколько членов национальных правительств, директоров трестов и руководителей московских учреждений. Пожилых мало, правящая Россия вообще довольно молода. Преобладает возраст меж 30 и 40 годами.

Первое впечатление — будто в бане или на пляже. Все одеты только в трусики. На ногах сандалии — на босу ногу, конечно, на выбритых, как у каторжников, головах — татарские цветные тюбетейки. Вечером, если прохладно, натягивают штаны и рубашку. В трусиках и обедают, и гуляют, так же ходят в Гурзуф, там в таком виде сидят в кафе, в ресторанчиках, гуляют по парку. Так же как то ходили рядами на митинг — умер Дзержинский — с революционными песнями и под красным знаменем.

Никто в этих трусиках ничего странного не находит. В том же Гурзуфе на пляже лежат длинные ряды, сотни и тысячи мужчин и женщин, — совершенно голых. В советской стране мануфактуры не так много,

поэтому даже трусики или купальный костюм имеют не все. пляж общий — но к наготe привыкли, это никого не смущает. Впрочем, ведь то же и в самой Москве. В центре города, на Москве-реке, у снесенного сейчас храма Христа-Спасителя, были устроены места для купанья. Правда, мужское и женское отдельно — и отгорожены досками. Но загородка была устроена так, что сверху, с троттуара набережной, все было видно, и у женской половины постоянно стояли толпы «наблюдателей» — и это опять таки никого не смущало. Протесты раздавались только тогда, когда «наблюдатели» для развлечения начинают кидать камнями. За городом, у Воробьевых гор, был такой же открытый и общий пляж, как в Гурзуфе, и та же общая нагота.

Приезжают поэтому все в Суук-Су налегке; то, что на себе, да еще чемоданчик, а чаще просто пакетик с парой рубашек в газетной бумаге под мышкой. Я захватил довольно объемистый чемодан. Потом приехала жена — тоже с чемоданом и картонкой. Ко мне в комнату зашел знакомый — член ЦКК. Был поражен.

— Что это вы, товарищ... на год, что ли, сюда приехали.

Женщин в Суук-Су почти нет. Особенно молодых. Прежде направляли сюда и женщин — из «ответственных» партийного аппарата — без разбора возраста. Но потом запротестовали врачи. Нашли, что отдыхающие не поправляются. И вот стали отправлять сюда в норме только тех женщин, что перевалили уже за пятьдесят.

Женщины прежде тоже ходили в трусиках. Получалось неладно. Сейчас ходят в легоньких платьицах — среди трусиковых полу-Адамов.

С женами сюда приезжать нельзя. Во первых, о женах государство и партия вовсе не обязаны так заботиться, так на них расходовать, во-вторых, врачи установили закон: жены мешают отдыхать. Тем не менее, многие выписывают своих жен, но живут они вне парка, в соседней татарской деревушке. Выписал и я жену.

Она была в Одессе — и ехала оттуда по железной дороге трое суток. А это было еще самое, пожалуй, упорядоченное время для советского транспорта. Почти сутки пришлось ей просидеть в Синельникове — в ожидании поезда, на который можно было бы сесть. Все поезда приходили облепленные людьми, как гроздьями. Все стремились на юг. Рабочие, маленькие служащие, с женами, с детьми, с узлами, — с севера, с запада, с востока, со всех концов европейской России, тянулись к морю. Ехали в давке, с ругательствами, проклятиями, из двух недель своего отпуска неделю проводили в дороге — но все-таки ехали, потому «теперь свобода», «не только баре курортами пользуются». На пересадочных станциях скапливались тысячи народу. Грязь, вонь. Тут же ползают дети, возят по грязному полу куски хлеба, которые едят. В Синельникове один человек внезапно умер. Но случилось это ночью, никого из подлежащего начальства добиться не могли — так и пролежал покойник среди спавших живых до позднего утра. Чтоб попасть в поезд, надо было давать большие «чаевые» носильщикам. Они как то ухитрялись находить места.

Жена поместилась в татарской деревне. Но оказалась тьма клопов и прочих насекомых: через две ночи она заявила решительный протест. Пришлось вступить в переговоры с администрацией дома отдыха: сделали исключение, разрешили ей поместиться в моей комнате. Но это было «нелегальное» деяние — и в столовую жена не выходила, ей приносили обед и пр. наверх.

Дни, конечно, жены и знакомые живущих проводят в парке Суук-Су. Пользуются и тамошним пляжем.

На пляжах лежат, конечно, нагишем — но здесь женский пляж отделен от мужского. Песка нет — берег покрыт раскаленными голышами, поэтому приходится подстилать цыновки. На мужском пляже обычно из-за мест споров нет. Здесь все полноправны — и не все ли равно, какое место занять: солнце везде одинаково жжет. Обычно знакомые подбираются группой — и лежа, обсуждают очередные политические сплетни, рассказывают сальные анекдоты и пр. Иное дело женский пляж. Полноправные женщины ревниво следят за тем, чтобы их постоянные места не были заняты неполноправными: женами из татарской деревни, женами служащих, прислугой. Строго соблюдается очередь в пользовании душем с пресной водой — сначала полноправные женщины, потом остальные. Часто возникают ссоры — с громкими криками.

Как то был взволнован весь пляж. Жена Червякова, женщина властная, энергичная и очень высокого понятия о своем ранге, каждый день приходила с дочерью на женский пляж прогревать свое тело. Это было всегда торжественное шествие. Впереди шла прислуга и несла цыновки, специально предназначенные

для жены и дочери председателя ЦИК'а. Другая прислуга втыкала и расправляла специальный председательский солнечный зонт. Место было всегда одно и то же, почетное, близко к лестнице и душу — чтобы не утомляться ходьбой по голышам. Когда жена и дочь председателя уходили пройтись по парку или позавтракать, но собирались вернуться на пляж — у зонта и цыновок оставалась прислуга, чтобы никто не смел там возложить свое тело. Но как то прислуга отлучилась — и когда жена и дочь председателя вернулись, одна из цыновок была занята неполноправной особой. Зонт был нагло повернут в ненадлежащем направлении.

Жена председателя подошла к лежавшей на цыновке неполноправной и спросила:

— Вы знаете, чье это место?

Неполноправная дерзко ответила:

— Не знаю и знать не хочу.

Жена председателя, соблюдая достоинство, веско бросила:

— А вы знаете, с кем вы говорите? — Я жена товарища Червякова...

— Никакого Червякова не знаю...

Этого уже нельзя было снести. Жена президента подняла рев, обозвала всех неполноправных шлюхами. «Тоже шатаются здесь»... «Всяких пускают»... «Ребенок заразиться может»... «Сейчас прикажу всех выгнать»... «Ребенок» рыдал. Неполноправные хором отвечали: «Сама шлюха»... «Тоже барыню разыгрывает»... Слово за слово — началась русская крепкая перебранка. Вызвали, наконец, управляющего домом отдыха, врача, ведающего пляжем. Жена президента, отвоевав свою цыновку и зонт, ушла, причем

зонт и цыновку нес за ней сам врач. А на другой день на женском пляже появилось строгое предписание: «посторонним пользование воспрещается». Но тут уж не выдержали демократические чувства прочих живущих. Предписание смягчили, установив точно, какие категории неполноправных, когда и как могут пользоваться пляжем.

... Каждый прибывший немедленно по приезде является на врачебный осмотр. Его взвешивают, осматривают, ощупывают, делают всяческие анализы, устанавливают режим морских купаний, теплых ванн, определяют пищу. Стол под наблюдением врачей. Для нуждающихся в диете — особый. По предписанию врачей дается и вино, даются разные лекарства. Тут же своя аптека, всем в изобилии снабженная, свой зубо врачебный кабинет. Общий врачебный кабинет прекрасно оборудован. Врачей несколько. Во главе — один из крупнейших невропатологов России.

Нормальный стол обильный и вкусный — из всего, чем только богата Россия. В 8 утра завтрак: яйца, икра, ветчина, сыр, чай, какао, молоко. В 11 часов простокваша. Затем обед из четырех блюд: суп, рыбное, мясное, сладкое и фрукты. В промежутке — чай с пирожным. Вечером ужин — из двух блюд. После ужина опять чай.

Сидят в столовой за маленькими столиками, по три-четыре человека за каждым, прислуга разносит уже готовые порции.

Первую часть дня обычно проводят на пляже. После обеда и отдыха отправляются на прогулки — иногда в Гурзуф пешком, иногда устраиваются дальние поездки на автомобилях или моторных лодках. Под вечер, когда спадает жар, играют в теннис, в

крокет, в городки. Вечером некоторые опять отправляются в Гурзуф — на «лунные ванны», как принято здесь выражаться, заводить знакомства. Иные отправляются — иногда даже на день, на два — в Ялту, в Сименз, в другие места — развлечься, навестить знакомых. Иные отправляются к богатому татарину по соседству, который торгует местным мускатным вином. Иные садятся за карты или за шахматы.

Держатся все по советской привычке кучей. Галдят. От смеха трясутся стены домов. Парк, впрочем, огромный. Кто хочет уединиться — углов, куда никто не заходит, сколько угодно.

Жизнь здесь примитивная, грубоватая, чисто-растительная, но поправляются люди хорошо. И все это — кроме поездок не на казенных автомобилях в Ялту, да вина у татарина — никому ни копейки не стоит. Все оплачивает партия, государство.

Обслуживает эти полторы сотни отдыхающих громадный штат прислуги. Кругом масса хозяйственных построек. Свой скот, свои лошади, свои оранжереи, фруктовые сады. Словом: крупнейшее имение с разнообразным и дорого стоящим хозяйством. Если учесть все — учесть и свойственную правительственным домам отдыха бесхозяйственность — каждый отдыхающий, вероятно, по тем временам обходился не меньше тысячи, а то и двух, золотых рублей в месяц, — не считая того, что государство отпускало каждому наличными деньгами, проезда по ж. д. и пр.*).

*) Вот что говорил, напр., Курский в докладе центральной ревизионной комиссии партии на XIV съезде (1925 г.): «...мы должны констатировать поразительно высокую цифру расходов, которые идут на лечение в доме отдыха ЦК в Кисловодске» (XIV съезд. Стенограф. отчет. 90). С тех пор

Таковы же, примерно, и все остальные дома отдыха для правящих верхушек — в Крыму, на Черноморском побережье, на Кавказе. Те, где приходится содержать лечебные учреждения, обходятся еще дороже.

Сталин, между прочим, обычно лечится в Сочи.

VIII.

Ни одно правительство в мире не заботится так о своей безопасности и не ограждает себя так от народа, как советское. Кремль — это вооруженная крепость. На стенах и башнях — пулеметные гнезда. Кое-где легкие орудия. День и ночь по стенам разгуливают часовые. В четырех башнях днем открыты ворота. Только через эти ворота и можно проникнуть в Кремль: два входа для пешеходов, два для автомобилей. Ночью открыто только двое ворот.

В Москве ходят упорные слухи о том, что советское правительство разыскало и обновило для своих надобностей — на всякий случай — старинные подземные ходы, соединяющие Кремль с городом. Об одном таком ходе писали даже газеты: его обнаружили в бывшем доме любимца царевны Софьи, князя Голицына, у Охотного ряда. Но газеты скоро замолчали. И никто не знает, как и во всем, впрочем, в Москве, что верно, что нет в разговорах о подземных ходах. Думается, что большой материал для этих разговоров дали раскопки, производящиеся в Кремле археологическими раскодами еще увеличились — особенно в «привилегированных» домах отдыха.

ческой комиссией, которая, действительно, ищет подземный ход, в котором, по преданию, царем Иваном Грозным были замурованы часть его сокровищ и библиотека. Библиотека эта, по сохранившимся о ней рассказам, должна представлять собой громадную научную ценность: в ней должны быть подлинники произведений ряда древних авторов, попавшие в свое время в Москву через Византию и южно-славянские земли. Впрочем, время от времени какие то раскопки производит и ГПУ. Так при мне дважды приезжали от ГПУ в тогдашний представительский дом Наркоминдела, бывший особняк сахарного короля Харитоненко, Этот дом, по преданию, построен на месте старинной дворцовой постройки, из которой якобы был ход в Кремль под Москвой рекой. Толковали еще — давал даже «показания» какой то каменщик, — что в подвалах дома замурован какой то «клад». Может быть, его то главным образом и искало ГПУ, ибо в том же доме однажды в скрытом в стене сейфе нашли уже большие ценности, находили их и в других особняках. Но, насколько я знаю, все выстукивания и раскопки ничего не дали.

У кремлевских ворот двойные караулы солдат: внешний и внутренний. Никто не может войти в Кремль, никто не может выйти из него без пропуска. Постоянные пропуска имеют только сановники — опять от члена коллегии начиная — и постоянно служащие и живущие в Кремле лица. Кроме того, некоторые ответственные сотрудники комиссариатов, имеющие постоянные дела в Кремле, получают годовые служебные пропуска. Остальные получают разовые. Пропуск получить не так легко, особенно после ноябрьских событий 30 г. Боятся проникновения чужих лиц, бо-

ятся террористических актов. Не надо ведь забывать: террор гуляет сейчас по России, то ослабевая немного, то вспыхивая с новой силой. То и дело на улицах среди бела дня убивают советских и партийных чиновников. Разве так трудно уж в конце концов проникнуть и в Кремль — и там выстрелить в кого либо из высших держателей власти? — Если вы идете к кому либо в гости — контрольная будка у входа проверит ваши документы, потом справится по телефону: дома ли тот, к кому вы идете, знает ли он вас, хочет ли вас принять. Идущие по делам должны представить специальное удостоверение своего учреждения. Возле часовых висят таблички с образцами пропусков — чтобы не было ошибок, чтобы ктонибудь не прошел с фальшивым или устарелым.

Над стеной, которая примыкает к Красной площади, возвышается громадное белое здание, увенчанное куполом. Над куполом день и ночь развевается красный флаг. Это — здание правительственных учреждений, ЦИК'а и Совнаркома — и флаг на нем означает, что правительство неизменно в Кремле. Ночью флаг освещается прожекторами — и кажется живым куском окрашенного кровью полотна.

Вы входите в ворота для пешеходов с Красной площади. Перед вами небольшая площадь, залитая асфальтом. В ее конце, ожидая властителей сегодняшнего дня, обычно стоят блестящие автомобили: Паккарды, Ройс-Ройсы, Каделяки. По середине площади разбиты цветники, меж них дорожки, посыпанные песком, стоят скамейки. Весной здесь цветет чахлая сирень. Здесь прогуливаются правительственные дети, катает колясочки правительственная прислуга, гуляют свободные от караула и занятий солдаты.

Налево — здание правительства. Направо — старый арсенал. Дальше — казармы школы пулеметчиков. Чистые, прекрасно оборудованные. Эта школа комплектуется из особо доверительных элементов — и должна в случае надобности защищать Кремль и правительство. Охрану Кремля несет особая часть войск ГПУ. Во главе охраны стоит комендант Кремля, латыш Петерсон, очень дельный, инициативный и твердый человек. К нему питают большое доверие — и потому он давно и бессменно сидит на своей должности. Он в чине командира дивизии, имеет орден Красного Знамени.

У здания арсенала — старинные пушки. На одной из них выгравирована дата: 1789. Год начала французской революции. Тут же написано, что сделана эта пушка по заказу польского графа Потоцкого — и он же приказал высечь на ней: «*Pro bello sed nunquam civili*». «Для войны, но никогда для гражданской». Сейчас эта пушка стоит против здания правительства революции и гражданской войны.

Вы идете вдоль правительственного здания. Оно образует неправильный треугольник. У ближайшего угла — вход в приемные помещения ЦИК'а.

Посредине выходящей на площадь, самой длинной фасадной стороны правительственного здания ворота, всегда открытые. Они ведут во внутренний двор, где парадный подъезд с очень эффектной классической колоннадой. Но вы не проходите во двор, а открываете маленькую дверь в нише ворот направо. Это обычный вход в совнаркоме. Для членов правительства имеется специальный вход, в конце здания, за углом.

По узкой и довольно грязной лестнице вы подымаетесь в первый этаж. Часовой. Вы опять показывае-

те пропуск — и входите в типичный корридор казенного здания, мрачный, несмотря на большие окна, и кажущийся от серой окраски стен грязным. Это еще помещение второго разряда — это только совнарком российской федеративной республики и разные комиссии. Зал заседаний российского совнаркома находится у самого входа, направо. Большая импозантная двухсветная зала с куполом наверху, очень красиво декорированная росписью и тканями. Все убранство сделано заново, уже революционным правительством. Вокруг громадного стола для заседаний массивные дубовые кожей обитые кресла с гербами российской республики на спинках.

По корридору прямо — кабинеты и залы для меньших заседаний. По корридору налево — кабинеты председателя и управляющего делами российского совнаркома. Тут же внутренняя лестница, ведущая наверх в помещение союзного совнаркома. Вы подымаетесь. Сначала идут кабинеты: председателя, управляющего делами, канцелярии. Зал заседаний — в самом конце здания, к углу. Здесь опять часовые. Опять проверяют пропуска — для входа сюда надо иметь специальный, дополнительный пропуск, даже обычный служебный недействителен — и вас проводят в комнату докладчиков.

Только вполне свои лица могут — кроме членов правительства — пройти в зал заседаний без вызова. Остальных вызывают секретари — и только на время обсуждения того пункта повестки, по которому они вытребованы. Процедура короткая: спросят мнение — три минуты — и отпускают. Иногда и вовсе ничего не спрашивают, иногда и вовсе не вызывают. Ждет какойнибудь специалист, считающий, что его мнение

должно разъяснить все, что без него невозможно решение. Ждет час-два. Выходит секретарь и говорит: ваш вопрос обсужден, можете уходить, решение узнаете после. Или: ваш вопрос отложен, приходите в следующее заседание.

В комнате докладчиков стоят письменные столы, стулья, подают чай. Для желающих — газеты, шахматы. Комната обычно полна. Иногда в ней так шумно, что выбегает секретарь и кричит: Товарищи, пожалуйста тише, вы мешаете . . .

IX.

Зал заседаний совнаркома — большая длинная казенного типа комната. Ее скрашивает только старинная хрустальная с бронзой люстра, да громадный накрытый сукном стол посередине.

Здесь когда то был решающий центр всей советской жизни, здесь заседал во главе своей старой гвардии Ленин. Сейчас от тех времен здесь остался только портрет Ленина на стене, да в углу у окна, выходящего на Москву реку, на Замоскворечье, на просторы русской земли, за шелковым шнуром, как в музее, крышка стола, за которым он работал, да его кресло. Да еще у печки надпись: курить воспрещается.

К большому столу перпендикуляром поставлен другой, письменный, для председателя. Сбоку столики секретарей. В стороне сидит управляющий делами. У печки, обложенный огромными папками с делами, его помощник.

У каждого наркома свое определенное место, отмеченное стоящей на столе карточкой. Ближе всех к председателю сидят его заместители и наркомы по военным и иностранным делам.

Народу собирается много — иногда человек пятьдесят. Ведь одних союзных наркоматов полтора десятка. Кроме того тут обязательно присутствуют представители союзных республик — по одному от каждой, представитель профессиональных союзов; приходят российские наркомы (ведь, например, союзных наркоматов по просвещению, по здравоохранению нет — и их роль фактически выполняют российские наркомы). Приходят иногда — особенно в большие дни, в бюджетные заседания — и заместители наркомов, некоторые члены коллегий. Наконец — докладчики ведомств.

У стены у входа большой угловой диван. За ним круглый стол. Тут лежат разные справочники. Тут разливают неизменный чай. Тут же обычно сидят ведомственные докладчики. Тут же в сторонке ведутся приватные разговоры.

Заседания происходят по вечерам в определенные дни — обычно не больше двух раз в неделю. На повестке обычно десятки, иногда сотни вопросов. Регламент строгий. Каждое выступление ограничено тремя минутами. При Рыкове выступающие иногда переходили границы положенного им времени. Впрочем, и Рыков довольно бесцеремонно умел обрывать. Молотов еще строже. Он хочет иметь такой же дисциплинированный совнарко́м, каким он был при Ленине. И, надо сказать, он умеет этого добиться.

Больших прений в совнаркоме не бывает. Вообще советская страна вышла сейчас уже из той полосы,

когда деловые собрания превращались в бесформенные митинги, когда из за пустяков начинался многочасовой принципиальный спор, когда деловые вопросы решались не по деловым, но по абстрактно-теоретическим, ничего общего с жизнью страны не имеющим соображениям — и решались простым и случайным большинством голосов.

Вопросы государственной жизни решаются сейчас не в политических говорильнях, но в тиши кабинетов государственных дельцов. Надо всем главенствует сейчас много работающих и малоговорящий «аппарат». Поэтому то советские собрания — в том числе и заседания совнаркома — обратились в суховатые встречи дельцов, в с о в е щ а н и я при руководителях государственного-партийного аппарата, на которых обмениваются деловыми замечаниями по практическим вопросам, деловым опытом, говорят по преимуществу на языке фактов и цифр.

Решения совнаркома складываются поэтому не экспромтом на заседании — они тщательно готовятся аппаратом ведомств и непосредственно обслуживающим совнарком, и в большинстве случаев и принимаются в предложенном аппаратом виде. Разве только обнаружатся те или иные деловые ошибки, недостаточная подготовка вопроса, либо новые, прежде неизвестные его стороны.

Аппарат, непосредственно обслуживающий совнарком, приобретающий сейчас все большее и большее значение — это его управление делами. Фактически это личная канцелярия председателя совнаркома. В ней около ста человек постоянных сотрудников. Во главе ее стоит управляющий делами совнаркома. Эта должность по своему значению не меньше, пожалуй

даже больше, чем должность многих наркомов. Но все, конечно, зависит от человека, сидящего на ней.

Прежний управляющий делами, Н. П. Горбунов, ученик и любимец Ленина, человек очень властный, энергичный, с большими знаниями, с умением работать, с организаторским талантом, имел очень большой личный авторитет. Это было тем более необходимо, что во главе совнаркома стоял Рыков — человек довольно слабый. Но Горбунов сегодня пришелся не совсем ко двору. К тому же он сам тяготел все время к научной работе — и уже последнее время пребывания на должности управделами меньше занимался вопросами совнаркома, чем вопросами научных и учебных учреждений. Сейчас он стоит во главе одного из новых научных институтов.

Его сменил Керженцев, бывший полпред в Швеции и Италии, потом начальник статистического управления. Его считали — некоторые считают еще и сейчас — хорошим организатором. Верно, что он — журналист по профессии — написал несколько книжек и брошюр по научной организации труда. Но, к сожалению, почти всегда так бывает: прекрасные в теории организаторы, очень скверно умеют воплощать свои идеи в практической жизни. Керженцев слишком слабый человек. У него нет административной жилки, он не умеет командовать людьми, не умеет дисциплинировать их, как не умет в практической работе дисциплинировать и себя самого. Во всех учреждениях, которыми он руководил, был всегда невероятнейший организационный хаос. Но на счастье совнаркома Керженцев играет в управлении делами чисто декоративную роль, главная же работа лежит на плечах человека, выдвинувшегося на ней и постепенно почти цели-

ком забравшего ее в свои руки еще при Горбунове, И. И. Мирошникова.

Относительно молодой человек — т. н. «второго поколения», т. е. 35—40 лет, техник по образованию, очень энергичный, толковый, быстро схватывающий суть каждого вопроса, с большой чисто-крестьянской — он, кажется, казак — практической сметкой, он фактически является душой управления делами совнаркома.

Значительную роль играла прежде Л. М. Фотиева, секретарь совнаркома, очень близкий Ленину человек. Женщина властная, энергичная, она недурно справлялась с техникой работы, была ходячей энциклопедией по всем вопросам: Ленин ее очень ценил. Но именно ее властность, тяжелый, строптивый нрав, рожденная близостью к Ленину привычка командовать, создали ей многих недоброжелателей. Со смертью Ленина она начала оттесняться. Ее муж, когда то сильно шумевший беспартийный член коллегии Рабкрина, Решке, совсем уже сошел на нет. Фотиева работает еще, но большого значения не имеет, сведена на роль почти технического сотрудника.

Законодательная инициатива идет по двум линиям: либо сам совнарком предлагает ведомствам в такой то срок разработать такой то законопроект, либо ведомства входят с зародившимися у них предложениями. Как правило, можно сказать, что инициатива самого совнаркома касается обычно вопросов наиболее серьезных, ведомства же обычно по своей инициативе забрасывают совнарком так называемой вермишелью — вплоть до просьбы о передаче дома или квартиры, ли-

бо об учреждении в штатах лишней должности машинистки. Сплошь да рядом, ведомства подбрасывают в совнарком и такие вопросы, которые по существу законодательству они могли бы разрешить и сами по себе. Но сказывается тяготеющая до сих пор над всем советским аппаратом боязнь ответственности. Все-таки вернее, когда за спиной решение и ответственность совнаркома. Поступают в совнарком и такие мелочи, которые хотя и не требуют законодательного вмешательства, но не могут быть разрешены одним ведомством, а другие заинтересованные — упираются. Здесь совнарком выступает в роли своего рода арбитра.

На задаче управления делами лежит, прежде всего, изучить все поступающие вопросы, собрать по ним все справки, «согласовать» со всеми заинтересованными ведомствами предварительно, т. е. получить их положительные и отрицательные отзывы. Все это требует большой и четкой работы — и технической и по существу. Ведомства советской страны крайне бюрократичны, бумажный поток огромен — если не следить, не иметь организованной системы контроля, ведомство может на целый год задержать у себя проект постановления на отзыве.

По существу все поступающие в совнарком дела прорабатываются помощником управляющего делами совместно с референтами, специализующимися по отдельным отраслям государственного управления. Ознакомление по существу приводит часто к тому, что вопрос возвращается обратно ведомству с предложением разрешить его своим распоряжением, либо по согласованию с другими учреждениями — и об исполнении в такой то срок доложить.

По остальным делам управление делами подготов-
ляет проект постановления совнаркома, часто в корне
расходящийся с предложением ведомства. Затем дела
идут на доклад председателю совнаркома, причем раз-
биваются на две категории. Первая — это вся «вер-
мишель». Эти вопросы разрешаются простой подписью
председателя совнаркома. Затем решения по ним вно-
сятся в протокол ближайшего заседания совнаркома,
который просматривается его членами. Такого рода во-
прос рассматривается в заседании совнаркома лишь при
требовании того или иного наркома. Но это бывает
редко. Обычно протокол утверждается целиком — и
это уже декреты правительства. Последнее время в
целях разгрузки совнаркома все большее и большее ко-
личество вопросов решается таким образом — т. е.
подписью, решением председателя совнаркома.

Вопросы более сложные вносятся в повестку сов-
наркома — и перед его заседанием поступают на пред-
варительное обсуждение в так называемое « совеща-
ние замов». Формально это — совещание председате-
ля совнаркома с его заместителями, фактически это
заседание верхушки политбюро по вопросам повестке
совнаркома. Здесь участвуют обычно Сталин, Мо-
лотов, Рудзутак, Андреев, Куйбышев, Ворошилов, Ка-
линин, Орджоникидзе, Каганович. Докладывает управ-
ление делами совнаркома. Повестка и материал по ней
предварительно сообщаются в секретариат Сталина,
т. е. центрального комитета партии. Постановления
этого совещания и предлагаются председателем совнар-
кома в его заседании, как резолюции. Обычно они
принимаются без изменения. Изредка только по тем
или иным деловым соображениям вносятся небольшие
поправки. Если же требуются серьезные изменения —

и председатель совнаркома — он же второй по влиянию член политбюро — считает себя не в праве на них пойти, вопрос снимается, идет на переработку, вновь потом обсуждается в «совещании замов». И это уже окончательное решение, механически принимаемое совнаркомами.

Те декреты совнаркома, которые нуждаются по закону в санкциях ЦИК'а, механически туда переходит и механически же утверждаются его президиумом.

Х.

Из помещения совнаркома днем можно, не выходя во двор, пройти, минуя корридoром кабинеты председателя и его заместителя, в помещения союзного ЦИК'а в ВЦИК. Ночью соединительные железные двери закрыты.

Помещения ЦИК'а занимают наибольшую часть громадного здания. В своей парадной части, где кабинеты и приемные председателей и секретаря, они отделаны и обставлены гораздо роскошнее относительно бедных комнат совнаркома.

Корридоры и лестницы застланы красным плюшевым ковром, кабинеты тоже в коврах, мебель новенькая, тщательно подобранная, по преимуществу кожаная, английская. Кабинеты громадные, особенно тот, в котором работает Енукидзе. Во всем чувствуется, что в ЦИК'е занимаются и любят заниматься хозяйством.

В приемных комнатах Калинина принимаются послы попроще, «свои», например, монголы. В обычное же время тут толпится разнообразнейший народ, желающий повидать «всесоюзного старосту». Очень много обычно крестьян. Сюда попадают, конечно, не все, кто хочет видеть Калинина. Приемные для всех, точнее, канцелярии по приему прошений и председателя ЦИК'а и председателя совнаркома сознательно помещены не в Кремле, чтобы не допускать за его стены слишком много лишнего народа. И только часть людей, прошедших предварительный фильтр общей приемной, проверенных, допускается сюда. Последнее время здесь очень часты торжественные заседания президиума ЦИК'а, на которых выдаются ордена Трудового Знамени и Ленина ударникам, героям труда.

Что помещается в огромных помещениях ЦИК'а? — Бесчисленное множество разных его отделов, канцелярии, комиссии. Ведь ЦИК производит в общем очень большую, хотя и незаметную и нешумную работу. Здесь происходит и подготовка органического законодательства, проработка и переработка конституции, положения о выборах, здесь заседает ряд комиссий по вопросам национальности, здесь центр переселенческого и колонизаторского дела и т. д.

В кремлевском дворце происходят все торжественные, требующие большого помещения и помпы события.

В нижнем этаже, в анфиладе затянутых шелком, усыпанных позолотой, расцвеченных зеркалами, бронзой, старым фарфором покоев, в которых почти все осталось нетронутым от императорских времен, происходит торжественное вручение вверительных грамот иностранными послами.

Золоченных карет в Москве нет. То-есть есть старые императорские кареты в музеях, но их, конечно, не употребляют. Послов привозят в автомобилях. Это лежит на обязанности шефа протокола Наркоминдела Флоринского. В такие дни он выглядит озабоченно и торжественно — и обязательно облекается в военную форму. Он не военный, конечно, но Реввоенсовет Республики разрешил ему ношение формы войск его охраны. Зачем? — Для удобства. Флоринскому часто приходится выезжать навстречу иностранных послов. Иногда — особенно в первое время и особенно при встрече восточных послов — требовалась специальная одежда, в том числе цилиндр, что по московским нравам вещь весьма необычная, вызывало днем слишком уж большое внимание, даже нежелательные инциденты. Однажды Флоринский поехал встречать арабского принца Лотфалу. Поехал в цилиндре. На Мясницкой, на самой людной улице Москвы, его автомобиль испортился и стал. Принц, не дождавшись встречи на вокзале, поехал в город — по той же Мясницкой. Встретились. Флоринский подошел приветствовать принца, который тоже, кажется, был в цилиндре. Московские мальчишки окружили их толпой, взялись за руки, стали радостно вокруг них танцевать с криками:

— Цирк приехал, цирк приехал!

Принц не понял и так не узнал, в чем дело. Решил, вероятно, что это так гостеприимен московский молодняк. Но Флоринский с тех пор испросил разрешение носить военную форму, которую можно одевать при всяком случае.

Стал носить военную форму и Чичерин, избранный

почетным красноармейцем караульной роты при Наркоминделе. Чичерин заменял ее даже фрак.

Литвинов и прочие ответственные работники Наркоминдела при торжественных встречах с послами одеваются по-европейски, но с московским упрощением. Обычно темный пиджак.

Послы приезжают во всем параде.

В дверях их встречает караул. Тут же комендант Кремля Петерсон. Сотрудники Наркоминдела проводят их в приемные покои, где дожидается в темненьком пиджачке маленький и недовольный тягостным для него церемониалом Калинин.

Надо отдать ему справедливость — он держится прекрасно. Немного смущается вначале, когда читаются официальные послания, морщится, потом это проходит. Он прост — и располагает к себе.

Разговор обычно длится недолго — тем более, что с иностранцами, не говорящими по русски, разговор ведется через переводчика.

Во второй этаж дворца ведет громадная лестница. Наверху, в первом зале против нее, остался единственный императорский портрет, сохраненный революцией. Это громадная картина, изображающая императора Александра III. Он принимает крестьянских представителей и поручает им охранять помещичью землю. Эта картина с характерными словами императора сознательно сохранена большевиками. Она должна показывать всем подымающимся по этой лестнице крестьянам, как разрешала земельный вопрос императорская власть.

Налево от лестницы, пройдя через обтянутый красным шелком антишамбр, попадаешь в огромный двухсветный Андреевский зал. Здесь происходят обыч-

но конференции и съезды партии, конгрессы Коминтерна. Иногда, впрочем, и этот зал не вмещает тысячных съездов — и тогда приходится переходить в Большой театр. Последний партийный съезд заседал уже в Большом театре.

Андреевский зал весь покрыт лепкой и весь вызолочен. Революция построила в нем длинные ряды черных парт, напоминающих школьные, и громадную трибуну в конце. Дальше лежит бывший тронный зал, в котором происходят меньшие собрания. Именно в тронном зале решалась участь Сталина — предварительно обсуждалось завещание Ленина. Момент был напряженный до нельзя. Завещание Ленина прямо говорило, что Сталин должен уйти. Сталин заявил, что готов: что иное оставалось? Но его спас Зиновьев — и малодушие Троцкого. Сталин остался — из тронного зала русских императоров вынес свою нынешнюю мощь.

В другую сторону лежат залы Владимирский, Александровский и др. Все они сохранили старое убранство, орденские эмблемы на стенах, но выглядят немного запущенными и мрачными. Здесь обычно устраивается во время съездов буфет, происходят частные совещания, наконец, это кулуары партийных парламентов, где втихомолку сталкиваются люди и группки.

В остальных комнатах дворца иногда происходят заседания ЦИК'овских комиссий. Так часто здесь заседают комиссии по бюджету.

XI.

Сношения с иностранцами — я говорю о той части иностранцев, с которыми должна поддерживать те или

сношения правящая Москва, о дипломатах, — осуществляются по преимуществу Наркоминделом. Настоящее правительство всячески и сейчас еще избегает общения с дипломатами, редко — редко удастся кому либо из последних увидеть председателя совнаркома либо кого либо из членов политбюро — я не говорю уже о самом Сталине, который для иностранцев вообще, как правило, невидим и недосягаем. Впрочем, Сталин ведь «неофициальная персона». Он не занимает никаких государственных должностей.

Помимо деловых сношений — посещений дипломатами канцелярий Наркоминдела на Кузнецком мосту — устраиваются еще чаи, обеды, вечерние приемы. Для этих целей прежде служил бывший особняк Харитоненко, на Софийской набережной, теперь особняк в районе Пречистенки, выстроенный сибирским миллионером Второвым. Дипломатический корпус в Москве громадный — и особняк на Софийской оказался в конце концов слишком мал: ведь на вечерние приемы-балы, обычно устраивавшиеся раз в год, весной, к окончанию сезона, дипломатов с женами и приглашенных советских людей (ответственные сотрудники Наркоминдела с женами, некоторые второстепенные члены официального правительства, артисты), собиралось порой свыше 300 человек. Большой дневной прием всегда устраивается в день 7 ноября. Затем: несколько «чаев» у жены Литвинова в течение «сезона». На «чаях» обычно выступают артисты. На вечерних приемах обычно после ужина — танцы.

Кроме обедов — обычно человек на 20-30 —, какие устраивает «коллегия» Наркоминдела для вновь приезжающих представителей иностранных держав и

для ответов на обеды дипломатов, время от времени устраиваются завтраки отдельными ответственными работниками Наркоминдела и маленькие вечерние приемы — чаще всего с игрой в бридж — шефом протокола.

Миссии, в свою очередь, устраивают обеды, чай, балы — и т. к. миссий в Москве несколько десятков, то в результате ответственным работникам Наркоминдела приходится вести довольно интенсивную «светскую» жизнь.

Последнее время, впрочем, количество приемов — в частности, обедов — сократилось. Влияет дороговизна московской жизни, недостаток многих вещей, — но, главное, начиная с 1928 г. Наркоминдел в лице Литвинова повел кампанию против официальных обедов. Литвиновы внезапно предложил главам иностранных миссий заменить обеды вечерними приемами. За этим предложением лежали и личные причины — утомительность обедов с долгим неподвижным сидением за столом: врачи признали это вредным для некоторых руководителей Наркоминдела, страдающих ожирением. Были и более глубокие причины: некоторые иностранные представители начали звать на свои более-менее интимные обеды не только высший персонал Наркоминдела, но и второстепенных работников, стали пытаться вовлекать на них и представителей московской интеллигенции — артистов, ученых и пр.; все это создавало возможность установления тесного, не всегда в обстановке обеда поддающегося контролю и наблюдению общения дипломатов с людьми, а которых правительство не могло полностью положиться; наконец, дипломаты, разобравшись в обстановке, некоторых людей, заведомо подозрительных принадлежностью к

ГПУ, под предлогом ограниченности обеденного общества, могли не приглашать. Вечерний же прием предполагает всегда и более-менее широкое число приглашенных — и возможность контроля и наблюдения за всеми. На таком примере, во всяком случае, всегда можно помешать слишком тесному и долгому общению нежелательных лиц с дипломатами. Для людей же наклонных к ожирению — а это, увы, наклонность многих и многих в правящей Москве — вечерние приемы с их подвижностью, обычно сопряженные и с танцами, конечно, предпочтительнее, чем обеды.

Но дипломаты отрицательно отнеслись к идее Литвинова. «Я вынес впечатление, докладывая в ноябре 28 года шеф протокола Литвинову, что корпус весьма превратно толкует наше предложение, придавая ему чуть ли не ультимативный характер и расценивая его, как навязывание корпусу больших вечерних приемов... У меня сложилось убеждение о создавшемся в этом вопросе общем фронте дипкорпуса»... Началась длительная и упорная война за вечерние приемы, которую вели по всем правилам дипломатического искусства. Не буду излагать всех ее сложных и забавных обстоятельств — получился бы сплошной анекдот. Победил в конце концов Литвинов. Обеды сократились — но и общее число дипломатических приемов стало меньше. «Светская» жизнь Москвы стала тише.

Приемы, устраиваемые Наркоминделом, всегда — и особенно вначале — отличались большой пышностью, но и некоторой грубоватостью: сказывались и давили вкусы наркоминдельской верхушки, с которыми трудно было бороться. Во время чаев, например, прекрасный «директориаальный» белый зал Хари-

тоненковского особняка из за обилия крытых белыми скатертями столиков обращался прямо в ресторан. Кормили всегда тяжело по-русски. Столы буквально ломились. Подготовка к большому весеннему приему начиналась обычно за несколько дней. Работало полтора десятка поваров — лучших из оставшихся от старой России. Были вначале трудности с фарфором, хрусталем: все это было сбродное, преимущественно из частных особняков, с частными гербами и инициалами. Так чаще всего на обедах пили из бокалов с инициалами, гравированными огромными золотыми буквами: В. Х. (Вера Харитonenko). «Бюробин» — бюро по обслуживанию иностранцев — ухитрялся иногда подсунуть на обед и оказавшиеся в его распоряжении сервизы, раньше принадлежавшие иностранным посольствам. Так, в распоряжении Бюробина был серебрянный сервиз английского посольства. Его запрещено было подавать дипломатам — во избежание недоразумений. Но как то все таки его подсунули — и получился дипломатический скандал. Пишущему эти строки с величайшим трудом удалось в свое время убедить перейти на бывшие императорские сервизы — это было гораздо естественнее, здесь видно было, что подается не «краденное» у частных лиц, как промеж себя часто поговаривали некоторые иностранцы, но преемственное, государственное. Но саванников императорские гербы смущали больше, чем частные. Как то не по себе было им есть с тарелок с двуглавым орлом и короной. Помню, как морщился Калинин, когда для устройства банкета на несколько сот человек во время празднования юбилея Академии Наук вытащили из Большого кремлевского дворца огромный сервиз Александра III, в узор которого

были вплетены императорские гербы. Но потом привыкли, перестали замечать. Сейчас Наркоминдел обслуживается драгоценнейшим «Корблевским» сервизом и старинным английским хрусталем, который прежде во дворце подавался в исключительных случаях только. И серебро достали из «госфондов» — императорское и великокняжеское.

Надо сказать, что этим все эти ценности оказались спасенными — и не только от продажи за границу, но и просто от расхищения и уничтожения. Мне пришлось как то обойти подвалы императорских и великокняжеских дворцов в Питере, Царском и Петергофе, где тогда хозяйничал Наркомпрос и комиссия «госфонда» — я ужаснулся. Огромные ящики для мусора вдоль хозяйственных построек старого Царкосельского дворца были битком набиты обломками драгоценнейшей фарфоровой и хрустальной посуды. Здесь лежали в обломках целые сервизы. Часть, оказывается, была уничтожена еще в годы гражданской войны, когда этими сервизами обслуживались квартировавшие здесь воинские части. А часть — и может быть большая — была разбита и раскрадена сотрудниками Наркомпроса. В подвалах Зимнего дворца горами лежали разнообразнейшая мебель, люстры, ковры, тут же разные мелочи из личной собственности императорской фамилии. Буквально неисчерпаемые залежи разных безделушек, украшений, платья, бесчисленное множество фотографий, начиная от времени императора Александра II и — их было особенно много — за всю эпоху Николая II. Сюда же были свезены вещи из «ликвидированных», т. е. переданных под учреждения особняков: Юсуповых, Шуваловых и т. д. Все это валялось прямо на по-

лу, в невероятном беспорядке. Мебель была в большей части поломана, люстры разбиты, редкие бронзовые вещи разрознены — одна часть там, одна здесь. Время от времени производились «аукционы» — так распродавались ковры, гардеробы последней императрицы, великих княжен и т. д. Но на «аукционах» творились самые странные махинации — вещи вдруг исчезали, оказывались уже «проданными». Вокруг комиссии «госфонда» постоянно вертелись подозрительные лица — хищения шли во всю. Труднее всего было там достать что либо представителям государственных учреждений — они натывались на невероятнейшее противодействие, оказывавшееся всеми заинтересованными, начиная с Луначарского. В конце концов все-таки ведавшие этим имуществом лица были преданы суду. Но, конечно, «стрелочники». И, конечно, многие ценности уже погибли безвозвратно.

Приходилось мне не раз заглядывать и в «золотой фонд» — для отбора серебра для миссий за границей. Там было больше порядку, возможность хищений была исключена. Но в некоторых отношениях был слишком большой «порядок». Производили, например, «сортировку»: золото и серебро отдельно, дерево, кость — отдельно. И части одного и того же сервиза оказывались в разных местах. Бывали такие курьезы: старинный, например, самовар или чайник, золотой или серебряный — но все части черного дерева или слоновой кости отвинчены и собраны в каком то другом, неизвестном месте. Когда потом такие вещи стали продавать, то получились большие трудности с обратным подбором одного к другому.

...Последнее время и правительство — офици-

альное, конечно, не Сталин — стало принимать иностранцев в Кремле. Но это скромнее, официальнее, суше, чем делал и делает Наркоминдел. И все это — вынужденный жест в сторону Запада, дань его «условностям», но вовсе не внутренняя потребность. Никогда не забуду сморщенного лица советского «президента» Калинина, его тихих, но энергичных поругиваний, когда он — такой маленький и затерянный на фоне голубого шелка парадных комнат кремлевского дворца — ожесточенно поправляет перед приемом иностранного посла съезжающий на бок жесткий воротничек. Даже жесткий воротничек — не привычка, не потребность. А чопорное сидение за официальными зваными обедами — это прямо уже мука! Ну, а балы и тому подобное, этого уже настоящие правители и вовсе не приемлют. Для них это музыка иного мира, ненужная, тягостная, вкуса которой они еще не понимают.

Надо еще заметить: настоящее правительство и в отношении денег жестковато, не любит «зряшных» расходов. А расходы на так называемое «представительство» оно считает именно зряшными, идет на них с трудом, нехотя. Наркоминдел, поэтому, с большими усилиями вырывает всегда деньги на «представительские» расходы. — И надо отметить, что ведь правительство многого и не знает, что устраивает Наркоминдел, особенно за границей. А когда узнает...

Как то один полпред, желая произвести хорошее впечатление, показать, как он умеет «принимать», прислал в Наркоминдел подробное описание вечернего приема, им устроенного. К описанию были приложены фотографии, сделанные «на месте преступления»: столы, во

время и после ужина, ломящиеся от яств и питей — и уже опустошенные; группы участников в самых дружественно-интимных позах, даже обнявшись. На свою беду полпред послал копию этого описания и в секретариат Сталина. Один из помощников Сталина прочел, обратил внимание «вождя». Сталин затребовал фотографии, на которые в тексте описания были ссылки. Увидел — и разсвирепел.

— Что за обжорка!.. Кабак какой то!.. Что за неприличное братание с буржуазией — в пьяном виде! — так, как мне передавали, — и с приложением непереносящих печати эпитетов, — высказался Сталин.

Карьера предприимчивого допломата была кончена. А Наркоминделу было предписано представить проект повсеместного сокращения представительских расходов и точной их регламентации. Для контроля же над этим была создана комиссия с неумолимым Петерсом во главе.

Были неприятности такого же порядка и у Крестинского в Берлине. На пышность его приемов пожаловались германские коммунисты: действует де раздражающе на рабочую массу Германии. Крестинскому был сделан выговор — и предложено впредь быть скромнее.

Вот чем еще объясняется редкое посещение членами правительства приемов Наркоминдела: некоторые, может быть, и пошли бы, еслиб настоять, представить это необходимым, но что потом из этого выйдет?.. Увидят какие нибудь «излишества» — и опять неприятности и сокращения. Нет, разсуждает сам Наркоминдел, лучше уж подальше от правительства.

Недалеко от Кремля, в Китай-городе — старом торговом центре Москвы — на Старой площади, против старинной стены, выходящей на Варварку, стоит огромный серый дом европейского типа. Если в течение дня стоять у его входа — можно увидеть почти всех крупнейших людей советской страны, находящихся сейчас в Москве. Сюда приходят все народные комиссары, руководители Коминтерна, главы союзных и автономных республик, областей, губерний, командиры армии, директора промышленных трестов, советские «министры» за границей. Все, входя сюда, становятся скромными, даже приниженными — и покорно сидят и ждут, когда их примут и выслушают. На дверях этого дома скромная надпись: центральный комитет всесоюзной коммунистической партии.

У дверей часовые. Члены партии входят сюда без пропуска, предъявляя только свои членские билеты. Часовые тщательно проверяют эти билеты. Особенное внимание обращается на дату уплаты последнего членского взноса. Сейчас много коммунистов, исключенных из партии за разные оппозиции. Это самый нежелательный и опасный для этого дома элемент. Партийный билет такой человек может случайно сохранить — и использовать его для того, чтобы пройти. Но членских взносов он, естественно, платить не может — и потому того, у кого штамп об уплате партийного взноса с давностью больше, чем три месяца, не пропускают. Не члены партии должны предварительно брать пропуск в комендатуре, находящейся рядом. Вечером требуется пропуск и для членов партии, ибо канцелярии закрыты, работает только всю ночь

секретный отдел, да заседают высшие органы и их комиссии, а туда и днем требуется специальный пропуск, партийного билета недостаточно.

По грязноватым лестницам тянется непрерывный поток людей. В приемных толпы. Особенно много всегда народа в приемной организационно-распределительного отдела. Там решаются судьбы партийцев. Одни приходят туда по вызову, другие сами — просить нового назначения, жаловаться, оправдываться.

В огромном доме еле размещается тысячеголовый аппарат. Использован каждый клочок. Тут есть и громадные канцелярии с массой народа в одной комнате, но еще больше малюсеньких клетушек, отгороженных одна от другой деревянными со стеклом перегородками. Здесь ведутся серьезные и обычно секретные разговоры, с глазу на глаз, поэтому значительной части здешних работников надо дать отдельную комнату. Вот и выкраивают клетушки, городя и разгораживая. Секретность разговора, впрочем, не всегда ограждена, так как перегородки тонки, и чуть повышается тон, как слышно в соседней клетушке. Но ведь внутри в общем то допускаются только свои люди, обычно же, разговоры со сторонней публикой ведутся в приемных.

Каких только отделов здесь нет. Огромный финансовый отдел, ведающий многомиллионными финансами партии. Управление делами, ведающие внутренней организацией и хозяйством. Организационно-распределительный, агитации и пропаганды, информационный, печати, по учету партийных билетов, деревенский, по работе среди женщин, среди национальностей, лечебная комиссия и пр.

Обстановка везде скромная, порой даже бедная. Сборная, разнокалиберная мебель, никаких ковров, никаких украшений, кроме портретов вождей, да и те висят порой без рам, просто приколоты к стене кнопками, покорежились, сморщились от солнца, запылились. Сразу видно, что здесь думают больше о деле, чем о внешности. Есть, впрочем, в этой скромности и известный умысел. Всякий человек может придти сюда — и рабочий, и крестьянин. И он должен видеть, что рабоче-крестьянская партия не «разложилась» в бытовом отношении. Между прочим, та же подчеркнутая скромность, даже неряшливость во всех партийных учреждениях России. Это советские учреждения могут разводить у себя всякую «роскошь» — им это и полагается. Партия же, люди партии — это подлинные «демократы», пролетарии, и они должны соблюдать этот свой пролетарский стиль, который на практике почему то выражается в известной неряшливости. Ведь и люди, работающие здесь и во всех партийных учреждениях России, одеты как то умышленно небрежно. Если в советских учреждениях вы видите много белых воротничков, галстуки, если даже толстовки имеют там какую то относительную щеголеватость — работник партийного аппарата в подавляющем большинстве соблюдает стиль до-революционного мастерового: косоворотка, либо мягкая рубашка без галстука под пиджаком. То, что пиджаки порой дорогие, заграничные — это не замечается. И любопытно, что именно этим стилем своим работники партийного аппарата гордятся и смотрят сверху вниз, с некоторым презрением на работников государственного аппарата. Даже самый старый член партии, если только он работает исключительно в государственном

аппарате — уже полубуржуй, «бюрократ» — а человек, вчера только выписавший себе партийный билет, но попавший в партийный аппарат, — он уже чистокровный «партиец-пролетарий», может, потому, командовать, разносить, попрекать отрывом от «партийной линии». Работники партийного аппарата — это своего рода служебная аристократия нового строя. Они держатся важно в своей партийной непогрешимости. Надо заметить, что и в бытовом отношении они поставлены в лучшее положение, чем работники государственного аппарата.

Лучше, но тоже скромно, и тоже зачастую с некоторым неряшеством обставлены и кабинеты руководящей верхушки.

Вот кабинет члена ЦК, ведающего орграспредом. Это одна из самых влиятельных фигур партийного аппарата, а, следовательно, и государства.

У него особая приемная. Большая комната: сюда приходит, здесь дожидается часто очень много народу. Пусто, голо. Стены крыты масляной краской — впечатление не то казармы, не то больничной палаты. Стол, несколько простых стульев — и все.

Самый кабинет — маленькая комнатка. Та же масляная краска на стенах, висит неизбежный портрет Ленина. На окне полотняные занавески. Пол ничем не застлан. Простой «шведский» стол, пара стульев, жесткий диванчик. В углу у двери сидит секретарь — он стенографирует все разговоры.

Вот кабинет одного из секретарей центрального комитета, т. е. одного из вершителей судеб России. Тоже отдельная приемная, но небольшая. Здесь бывает уже немного народу. В приемную эту пропускают только того, кто сейчас будет впущен в кабинет. Ос-

тальные ждут в общей приемной всех секретарей. У каждого секретаря есть определенные приемные дни и часы «для всех». Обычному смертному надо прежде всего у столика сидящей на приеме секретарши заполнить опросный листок, указать, зачем, по какому делу. Принимают, конечно, не всех, не всегда, хотя надо заметить, что секретаря центрального комитета партии легче увидеть, чего кого либо из наркомов, например. В партийном аппарате сознательно поддерживают традиции известного демократизма, как огня боятся упрека в бюрократизме. Особенно легко попасть к секретарю приезжим из провинции: вернувшись домой они расскажут, что в Москве, в ЦК партии, нет бюрократизма, и он де говорил «с самим»... Люди с положением повыше обычно созваниваются с самим секретарем ЦК предварительно по телефону. Это тоже нетрудно, если у кого есть так называемая «вертушка» — автоматический телефон, соединяющий всю правящую верхушку Москвы. Секретари обычно сами подходят к этому телефону. Труднее всего, конечно, попасть к Сталину, но это и понятно при его невероятной загруженности. Но все-таки и к нему может попасть рядовой партиец.

Кабинет — громадная комната. Старая, продавленная, обшарпанная, с выступающими наружу пружинами, а кое где и с вылезающим сквозь дыры волосом, кожаная мебель. Большой письменный стол, заваленный папками с бумагами. Несколько телефонов: «вертушка», кремлевский провод, обычный городской телефон, наконец, внутренний телефон ЦК. На полу ковер — но старый, истертый, кажущийся грязным. Ленин, конечно, на стене. На окнах болтаются выцветшие от солнца темноватые занавески. Все как

то неприятно и неряшливо. Только что здесь было, очевидно, маленькое совещание — остались недопитые стаканы чаю и горы окурков... Но просидев здесь несколько минут, вы начинаете понимать, что, право, человеку, работающему здесь, и не до внешности. В этом кабинете он не принадлежит себе, ему некогда даже на минуту остаться с самим собой, оглянуться. Он, вероятно, и не видит даже, какая обстановка его окружает. Беспреданно звонят телефоны, входят секретари, приходят новые и новые посетители. Кончен прием, просмотрены и подписаны важнейшие бумаги, — надо идти или ехать в какое нибудь заседание. И так — каждый день, с раннего утра и до позднего вечера.

Кабинет Сталина несколько выделяется. Он прост, но комфортабелен. А главное — в нем нет неряшливости, все в удивительном порядке. Сталин любит порядок и чистоту. То же было прежде и в кабинете Молотова, когда он сидел в ЦК.

Разговор обычно бывает самый краткий, строго деловой. Время не ждет, за стеной новые посетители. Каждый старается по-прежнему изложить свое дело возможно более сжато, заранее подготовившись. Но иногда разговор затягивается — это если секретарь ЦК находит человека интересным и хочет к нему приглядеться, воспользоваться случаем, чтобы его ближе узнать. Надо ведь учесть, что секретари ЦК в силу своей загруженности лишены возможности широкого общения с людьми. Общаются преимущественно с узким, все с одним и тем же кругом хорошо известных людей. Других знают по именам, по «делам», вынуждены на эти «дела», на мнения своего аппарата, цели-

ком полагаться. Такие же разговоры дают возможность проверить слышанное о человеке личными впечатлениями и отложить эти впечатления в голове на всякий случай.

ХІІІ.

Высшими исполнительными органами партии являются ее пленум, политбюро, оргбюро и секретариат.

Собирающийся раз в два года, а то и реже, съезд партии избирает центральный комитет — вместе с кандидатами около полутора ста человек —, и ее центральную контрольную комиссию — примерно двести человек. Совместное собрание членов и кандидатов центрального комитета и членов центральной контрольной комиссии и есть пленум. Первый пленум собирается сейчас же после съезда и избирает исполнительные органы партии: политбюро, оргбюро, секретариат.

Секретарей ЦК три: генеральный секретарь — Сталин (безсменный), и два просто секретаря (сейчас — Каганович и Постышев).

Высшая фактическая власть в партии — и в государстве — это генеральный секретарь Сталин. И второй и третий секретарь ЦК — его креатуры, вполне от него зависящие люди. Он держит их и дает им власть лишь постольку и до того момента, пока они ему послушны и нужны. В умении всегда подобрать нужных и подходящих людей, в умении управлять ими, не дать им захватить слишком большой власти,

в уменьи во время сместить их — величайшее искусство Сталина.

Секретари ЦК возглавляют три решающих органа партии и государства: Сталин — политбюро, Каганович — оргбюро, Постышев — секретариат. Совокупность этих трех органов и есть фактическое правительство советской страны. Официальные органы только оформляют их решения, прорабатывают их пожелания, в соответствии с их указаниями направляют всю свою текущую работу.

Нынешнюю свою организацию руководящие органы партии в общих чертах получили еще при Ленине. Политбюро еще по ленинской идее должно было осуществлять текущее политическое руководство жизнью страны. На VIII съезде партии (март 1919 года) было определено: «политическое бюро принимает решения по вопросам, не терпящим отлагательства» («VIII съезд Российской Коммунистической партии». 366-367). Ленин работу и задачи политбюро определял яснее — из опыта, по существу. «Громадная часть работы политбюро, говорил он в отчетном докладе на съезде, сводилась к текущему разрешению всякого возникающего вопроса, имеющего отношение к политике, объединяющего действия всех советских и партийных учреждений, всех организаций рабочего класса, объединяющего и стремящегося направить всю работу Советской республики. Политбюро разрешало все вопросы международной и внутренней политики» (Собр. соч. XXV, 95). Сталин дополнил это определение вопросом — ответом на XIV съезде партии: «Разве политбюро не полновластно?» — «Политбюро полновластно». (И. Сталин. Об оппозиции. 228-231).

Надо, однако, заметить, что ни при Ленине, ни

сейчас, после разгрома Сталиным всех «оппозиций», политбюро вполне полновластным органом не являлось и не является. И тогда и сейчас оно полновластно по отношению ко всему, стоящему ниже его, — т. е. по отношению ко всему партийному и государственному аппарату, по отношению ко всей стране, — но оно само склоняется перед диктатором партии и государства — сначала Лениным, теперь Сталиным. И правильнее всего было бы дать такое определение политбюро: это верховный и тайный совет при абсолютном монархе.

Полновластно — и то более-менее — политбюро было в период меж смертью Ленина и XVI съездом партии (1924-1930 годов). Тогда партия и советская страна управлялись олигархией. Сталин был уже силой, он влиял в политбюро, умело группировал в нем большинство, умел влиять своим авторитетом, но не был еще в нем самодержцем. Только сломив шею другим наследникам Ленина, своим соправителям по политбюро, сначала Троцкому, Зиновьеву, Каменеву, потом Рыкову, Бухарину, Томскому, заполнив политбюро своими людьми, Сталин пришел к нынешнему своему положению. Сделал он это, опираясь на аппарат, на чиновников, на подбор своих людей, т. е. партийных чиновников, в «высших» органах партии — на съездах, на конференциях, в пленуме ЦК и ЦКК. Потому то, говоря на XIV съезде партии, что политбюро полновластно, оно выше всех органов ЦК, Сталин добавлял: «кроме пленума». «Высший орган пленум, о котором иногда забывают. Пленум решает у нас все». Сталин, конечно, сам внутренне улыбался, когда говорил это, но он знал, что говорит и почему говорит: через партийный аппарат

он подобрал нужный ему состав пленума — и мог поэтому в нужные моменты этим, формально выше политбюро стоящим органом, как и подготовленными конференциями и съездами, бить своих противников. «Пленум решает у нас все — и он призывает к порядку своих лидеров, когда они начинают терять равновесие». (Об оппозиции, 231).

По ленинской идее политбюро должно отчитываться перед пленумом каждые две недели. Но уже при Ленине от этого отступили, а у Сталина пленум собирается раз в три месяца, а то и в полгода, — и политбюро в сущности вовсе не отчитывается перед ним. Собрания пленума это то же, что съезды и конференции партии. Собираются послушные, дисциплинированные чиновники, выслушивают формальный доклад начальства, стоя, делают шумную овацию, потом механически штампуют и сделанное им и предложенные им планы. «Партийная демократия», разгромив олигархию, утвердила единодержавие «вождя». И вряд ли сейчас возможен возврат к «демократии». Единственное, что возможно — смена одного самодержца другим.

XIV.

Оргбюро согласно постановления VIII съезда партии «направляет всю организационную работу партии». (VIII съезд. 366-367). Ленин же подчеркивал: «Главная настоящая работа оргбюро — распределение партийных сил» (Сбор. соч. XXV, 94). Вме-

сте с тем он указывал место оргбюро в партийной иерархии — это первый подсобный орган политбюро. Тесной грани, подчеркивал он, меж компетенцией политбюро и оргбюро провести нельзя, «ибо никакой политики нельзя провести, не выражая ее в назначении и перемещении». Следовательно, всякий организационный вопрос принимает политическое значение, и у нас установилось на практике, что достаточно заявки одного члена ЦК, чтобы любой вопрос, в силу тех или иных соображений, рассматривался, как вопрос политический», т. е. в политбюро. Сейчас это не совсем так. Аппарат выкристаллизовался, бюрократизовался, получил твердые формы, все определено регламентами и традицией. Сейчас грань меж компетенцией политбюро и оргбюро значительно яснее, чем прежде. Сейчас роль оргбюро — это роль правительственной комиссии, некоторые вопросы — преимущественно организационного рода — разрешающей самостоятельно, под общим контролем политбюро, остальные подготовляющей и со своим заключением передающей на окончательное разрешение политбюро. Всякие случайности — «заявление одного члена ЦК» — устранены. Только секретари ЦК — и прежде всего генеральный секретарь, Сталин, могут решить вопрос: надо ли то или иное решение оргбюро — по регламенту окончательное — переносить в политбюро.

В частности, и персональные вопросы разрешаются в той или иной инстанции не по случайному признаку, но есть точная номенклатура всех должностей партийного, государственного, хозяйственного, профсоюзного и кооперативного аппарата, в которой ясно определено, ведению какой партийной инстанции подлежат те

или иные должности. Ряд наивысших должностей обязательно проходит через политбюро.

Сталин идя к власти сумел, при посредстве Дзержинского и Молотова, сделать оргбюро своим орудием. Им—через назначения и перемещения верхушечной массы работников партии — он охватывал своей властью партийный аппарат. Вместе с тем через оргбюро он организовал охват партийным аппаратом государственного. Эти задачи и сейчас являются основными в работе оргбюро.

По уставу оргбюро должно тоже отчитываться перед пленумом ЦК — но это давно уже не выполняется.

Секретариат — третья и нисшая инстанция фактического правительства — это совещание секретарей ЦК с верхушкой аппарата ЦК — с заведующими отделами, их заместителями, помощниками, ответственными инструкторами. Секретариат, помимо разрешения персональных вопросов по нисшим категориям верхушки партийно-советского аппарата, решает все текущие дела, всю «вермишель». Секретариат руководит всей текущей жизнью партийного аппарата — и выполняет в этом отношении ту же примерно роль, что коллегии народных комиссариатов.

Пока Сталин шел к власти, секретариат играл огромную, хотя во вне и мало заметную роль, — иногда большую даже, чем оргбюро и даже политбюро. В оргбюро были еще «чужие», ставленники противников и соправителей Сталина, там не обо всем можно было говорить открыто, не все откровенно осуществлять*). Секретариат сплошь со-

*) Противники Сталина решили было организовать над ним контроль в недрах оргбюро. Это предложил, впрочем, и

стоял из «своих» людей: и секретари ЦК (Молотов, Андреев, Бубнов, Каганович, С. Коссиор) были ставленниками Сталина, тем же были и все заведующие отделами ЦК и др. Поэтому основные «организационные» мероприятия по захвату партии и охвату государственного аппарата намечались, а часто и проводились здесь. Под сурдинку, под названием «текущих дел», здесь разрешались и политические вопросы. Но в первую очередь — назначения и перемещения. Ведь «никакой политики нельзя провести, не выражая ее в назначении и перемещении».

Противники Сталина еще в самом почти начале борьбы поняли всю безнадежность позиции олигархии политбюро в столкновениях с партийным аппаратом, всецело находящимся в руках секретариата — и все значение должности секретаря ЦК и секретариата в целом. В 1923 году сторонниками Троцкого была выработана «платформа об уничтожении политбюро и политизировании секретариата, т. е. о превращении секретариата в политический и организационный руководящий орган в составе Зиновьева, Троцкого и Сталина» (И. Сталин. Об оппозиции. 228). Сталин решительно возражал и не допустил этого.

Когда это не прошло, оппозиция — на этот раз уже Каменев — стала требовать «уж не политизиро-

сам Сталин, предвидя результаты. В оргбюро ввели 3-х членов политбюро: Троцкого, Зиновьева, Бухарина. «Я, рассказывает Зиновьев, посетил заседание Оргбюро, кажется, один или два раза, тт. Троцкий и Бухарин как будто не были ни разу. Из этого ничего не вышло. И эта попытка оказалась ни к чему». Попытка чего? — Ограничения власти Сталина-секретаря. Так сильно было уже влияние Сталина в партийном аппарате благодаря секретариату.

вания, а техницизировании секретариата, не уничтожения политбюро, а его полновластия». (Там же).

— Что же, если превращение секретариата в простой технический аппарат представляет действительное удобство для тов. Каменева, может быть, следовало бы и согласиться с этим, — иронизировал уже уверенный в себе Сталин. — Боюсь только, что партия с этим не согласится. Будет ли, сможет ли технический секретариат готовить те вопросы, которые он должен готовить и для оргбюро и для политбюро? — Я в этом сомневаюсь. (Там же).

И тут то Сталин и выдвинул свой козырь — опору на пленум ЦК против противников в политбюро, на партийную «демократию» против олигархии. Само собой разумеется, что работа секретариата и оргбюро уже сказала — и «партийная демократия» состояла уже в подавляющем большинстве из сторонников Сталина.

— Когда говорят о полновластном политбюро, то такая платформа стоит того, чтобы отдать ее курам на смех, — опять иронизировал Сталин. — Разве политбюро не полновластно? Разве секретариат и оргбюро не подчинены политбюро? А пленум ЦК? Почему о пленуме ЦК не говорит наша оппозиция? Не думает ли она сделать политбюро полновластнее пленума? (Там же).

Сейчас, когда и политбюро, не говоря уже об оргбюро, целиком в руках Сталина, секретариат потерял свое прежнее значение сталинского боевого органа. Это теперь уже по настоящему нисшая чисто-исполнительная, отчасти подготовительная инстанция фактического правительства. Сам Сталин редко бывает сейчас в заседаниях секретариата.

При Ленине должность секретаря ЦК была более технической, чем политической должностью. Ленин подчеркивал на VIII съезде партии: «Секретарем партии всегда и исключительно выполнялась воля ЦК... Только коллегиальные решения ЦК, принятые в оргбюро и политбюро, или пленуме ЦК, исключительно такие вопросы проводились в жизнь секретарем ЦК» (Собр. соч., XXV. 94). В этом усиленном подчеркивании коллегиальности в партийной работе звучит некоторая фальшь—это сознательное подчеркивание. Но оно вовсе не для того, чтобы обелить секретаря от упреков в единодержавии. Секретарь ЦК при Ленине был не более, как секретарем по партийным делам при последнем, был слепым, послушным его орудием*) — и эту свою роль, свое влияние, свое личное вмешательство в работу партии хочет здесь уменьшить Ленин. И, объясняя, добавляет: «...Надо сказать, что вопросов было так много, что решать их приходилось сплошь и рядом в условиях чрезвычайной спешки, и только благодаря полному знакомству членов коллегии (т. е. политбюро С. Д.) между собою, знанию оттенков мнений, доверию, можно было выполнять работу... Часто приходилось решать сложные вопросы, заменяя собрания телефонным разговором». Иными словами — приказом Ленина, беспрекословно выполнявшимся секретарем. Так работает и Сталин. «Это делалось при уверенности, что некото-

*) «При Владимире Ильиче, кто бы ни был секретарем, кто бы ни был в секретариате, все-равно и тот и другой играли бы ограниченную служебную роль» (Зиновьев. XIV съезд. Стен. отчет. 455).

рые, заведомо сложные, спорные вопросы не будут обойдены» (Собр. соч. XXV, 95).

Диктатором страны, самодержцем и в партии и в государстве был тогда Ленин: создатель партии, ее «вождь» и теоретик.

Но надо всегда помнить: Ленин был председатель совнаркома, стоял во главе советского официального правительства, во главе формальной государственности. И этим естественно определялось и его отношение к партийному аппарату и положение этого аппарата в общегосударственной системе.

Через партию — и вместе с партией — Ленин пришел к власти над государством. Через партию он осваивал и строил новую русскую государственность.

Но оно не делал из нее надстройки, обособленной от государственного аппарата, управляющей им сверху. Он управлял государством через государственный аппарат, партийный же аппарат сделал одной из частей общегосударственного. Частью важной, нужной, но всетаки частью, а не центром.

Партия была для Ленина той армией, с которой он завоевывал государство, разбивая еще чуждые идеи, побеждая — физически и морально — чуждых людей, которых было вначале большинство в стране. Партия была прежде всего идеологическим центром, своего рода академией новой мысли, вырабатывавшей, поддерживавшей «правильную теорию» ленинизма. Теория партии в ленинскую пору не успела еще сложиться в мертвую, буквенную догму. Сам Ленин — вплоть до дня своей смерти — непрерывно искал, ибо он лучше, чем кто бы то ни было, понимал, как недостаточны старые теории, которые владели им (марксизм, в частности), и те обрывки знания жизни, какими

владел он — при всей его энциклопедической книжной эрудиции — для того, чтобы осмыслить конкретную сложность живой жизни, чтобы найти верный путь в водовороте огромных событий переломной эпохи истории. Искала вместе с Лениным — под его давлением, по его указаниям — и партия: отсюда та относительная живость и свобода партийной мысли, которая отличает эпоху Ленина. Итак: искание, создание «правильной теории» — была первая задача партии в революцию.

С революцией в партию влился громадный поток*) не только сырых в отношении каких бы то ни было теорий людей, но и людей, зачастую ленинским идеям чуждых, которые шли с партией больше по инстинкту, по настроению. Отсюда вытекала другая, не менее важная функция партии — уже ее аппарата: воспитание новых большевиков. Партийный аппарат был той кузницей, которая на огне ленинской мысли выковывала новых и новых ленинцев — эти живые гвозди, которыми пронизывалась, скреплялась, делалась в конце концов ленинской наспех, кое-как сбитая из разнородного и сырого материала бочка новой государственности.

Но не было управления государством через партийный аппарат, как это есть сейчас. Правда, и текущие вопросы международной и внутренней политики обсуждались в политбюро. Но политбюро тогда — это не был *партийный аппарат*. Это было совещание наиболее близких Ленину людей. С кем же было ему

*) Зиновьев в 1925 г. сообщил: «У нас членов партии до 1905 г. осталось меньше 2000 человек. из них, вероятно, половина полуинвалидна, выбывшие из строя... Членов партии до 1917 г.... всего 8½ тысяч... А остальные? Это — новые, поднявшиеся слои» (XIV съезд. Стенограф. отчет. 460).

совещаться в еще не освоенном государстве? — Ведь кругом была еще повсюду чуждая и враждебная стихия, чуждые люди, идеи. По существу, политбюро это было государственное совещание — и происходили его заседания у Ленина, в недрах государственного аппарата. То, что это всетаки был партийный орган, было необходимо для управления самой партией — не надо забывать, что люди, на которых опирался Ленин, старые большевики, привыкли к определенной организации, считались не столько с государственными законами, сколько с партийной дисциплиной. Ею можно было в партии многого добиться — прежде всего, строгого послушания воле вождя. Но все решения политбюро по государственной линии осуществлялись непосредственно через государственный аппарат — и аппарат, на который непосредственно опирался Ленин, это была его личная канцелярия, управление делами совнаркома, и наркоматы. Существенно также, что все лучшие силы партии тогда были не в партийном, а в государственном аппарате. И коммунисты государственного аппарата были гораздо независимее тогда, чем сейчас. Даже ячейки в учреждениях не играли тогда той роли, что сегодня. Идеи треугольника в каждом учреждении: администрация, ячейка, местком, выдающей, в сущности, администрацию с руками и ногами партийному аппарату, не было еще.

Нет сомнения — останься в живых Ленин, при нем, по мере все большего освоения государственного аппарата его идеями и людьми, на этих идеях воспитанными, государственный аппарат стал бы приобретать все большее значение, партия же постепенно сходила бы на нет. Постепенно, вероятно, и идеологическим центром стали бы не партийные собрания, а

научно-исследовательские институты, газеты, журналы. Потеряла бы партия и значение мобилизационного отдела правительства — эта часть ее аппарата, вероятно, перешла бы целиком в центр аппарата государственного. Произошло бы естественное отмирание партии — Ленин окончательно от роли вождя партии перешел бы к роли всенародного вождя и главы государства.

Вот к чему вело, вот в чем была суть единодержавия ленинского.

Методы Сталина во многом напоминают ленинские. Но Сталин иначе пришел к своему единодержавию — и потому оно имеет иной характер. Иное значение имеет поэтому и партия, вернее, партийный аппарат при нем.

Должность генерального секретаря партии была учреждена специально для Сталина — еще при Ленине. Ленин не соглашался на учреждение ее вначале, колебался при назначении Сталина, предвидел, к чему это поведет*). Но он был уже болен, не был уверен в себе, искал наследника, понимал — правильно совершенно —, что основной опорой такового может быть только партия, поскольку ни у кого нет того общегосударственного и общенародного авторитета, что у него, у Ленина, — и согласился в конце концов.

В должности генерального секретаря партии пришел Сталин к власти — в этой должности остается и сейчас, являясь уже фактическим правителем государства. Вот именно это и наложило специфический

*) «Без Владимира Ильича... секретариат ЦК должен приобрести абсолютно решающее значение.» (Зиновьев. XIV съезд. Стеногр. отчет, 455).

отпечаток на весь характер его единодержавия, сделало его глубоко отличным от ленинского.

Противники Сталина сидели, главным образом, в государственном (Троцкий, потом Рыков) и профсоюзном (Томский) аппарате, на него опирались. Сталин сам опирался исключительно на партийный аппарат. Чтобы захватить власть, он должен был лишить значения, прижать, обескровить, обезличить государственный, а затем и профсоюзный аппарат, слепо, рабски подчинить его партийному*). Для этого нужно было перетянуть и сосредоточить в партийном аппарате все нити фактического управления странной, как в центре, так и на местах. Сталин сделал это — и создал из партийного аппарата чудовищную надстройку над государственным, охватывающую, как щупальцы спрута, все тело страны.

XVI

Святая святых серого дома на Старой площади — секретный отдел**), обслуживающий секретарей ЦК и в частности Сталина, помогающий им управлять государством, т. е. фактическая государственная канцелярия, каковой при Ленине было только управление делами совнаркома и его личный секретариат, а также комнаты заседаний высших органов — секретариата и

*) «Партия руководит госаппаратом. Такова основа пролетарской государственности.» Берман и Медведев. Учение о пролетарской диктатуре и советском праве. I. 226.

**) Секретариат политбюро, оргбюро, бюро секретариата, шифровальное бюро, секретный архив.

оргбюро (политбюро заседает в Кремле) — помещаются в одном из верхних этажей.

Вы подымаетесь на лифте и идете кажущимся бесконечным корридорм. Заседания происходят по вечерам, поэтому в доме полутьма, пусто, тихо, ваши шаги отдаются гулко и одиноко. Внутренние посты часовых. Предъявление специальных пропусков. Наконец, вы минуете стальную дверь отделяющую это помещение от прочего дома, подходите к последней двери.

За нею — просторная комната. Мягкая мебель. Газеты, шахматы, чай, клубы табачного дыма. Вообще, обстановка очень напоминает комнату докладчиков при совнаркоме. Разница только та, что здесь в качестве докладчиков дожидаются более крупные лица — в том числе и многие из тех, что, как «свои», входят без доклада в совнарком и даже там заседают. В норме представлять ведомство может здесь должность не ниже члена коллегии наркомата. Много приезжих из провинции, руководителей местного партийного и советского аппарата.

У входной двери сидит технический секретарь, выясняющий, по какому кто вопросу, дающий справки. На его столе беспрерывно вспыхивает заменяющая звонок у внутреннего телефона лампочка: из зала заседаний сообщают, какой вопрос начали обсуждать, вызывают докладчика.

Секретарь бросает :

— Товарищ Н. Ваш вопрос...

Товарищ Н. обрывает начатый разговор, бросает недокуренную папироску и поспешно бежит к обитой войлоком и клеенкой двери.

Не успевает он закрыть за собой дверь и направиться к дальнему, председательскому концу огромного стола, как председательствующий секретарь ЦК бросает:

— Не задерживайте, излагайте вопрос...

Комнаты заседаний секретариата и оргбюро огромны. За длинным столом посредине участники заседания сидят иногда в два ряда. Их много — обычно несколько десятков. Секретари ЦК, некоторые из членов ЦК — заведующие отдела и являющиеся членами оргбюро — обязательные представители ЦКК, некоторые помощники секретарей ЦК; некоторые из ответственных инструкторов. Иногда кой кто из наркомов, не являющихся членами ЦК. Регламент строгий: один за, один против, редко кому дают еще — и каждый не больше трех минут.

Вопрос кончен — докладчик уходит. «Посторонним» в заседании воспрещено оставаться, хотя, конечно, и здесь есть «свои» люди, которые под шумок остаются и прислушиваются. Важно, полезно знать, что и как говорят здесь.

Политбюро заседает в Кремле в той же комнате, где собирается совнарко́м. Из всех правительственных коллегий это самая маленькая, — но не такая, конечно, малочисленная, как в ленинские времена. В состав первого ленинского политбюро входило всего пять членов (Ленин, Сталин, Троцкий, Каменев, Крестинский) и три кандидата (Бухарин, Зиновьев, Калинин). Но при Ленине и весь то центральный комитет партии состоял из нескольких десятков человек, а в ЦКК было всего 7 членов вместо нынешних двухсот. Сейчас политбюро имеет 9 членов и 5 кандида-

тов. Кроме того, в его заседаниях обязательно участвуют представители ЦКК — в том числе ее председатель. Вместе с техническим персоналом — в заседании участвует примерно 20 человек. Это все люди, имена которых ежедневно мелькают на страницах советской прессы — люди, известные всей стране, отчасти и за границе. Сталин, Молотов, Калинин, Ворошилов, Андреев, Рудзутак, Куйбышев, Орджоникидзе, Микоян, Каганович, Енукидзе... Иногда здесь бывают заехавшие из Харькова Петровский, «президент» Украины, Коссиор, Киров — руководитель ленинградской, второй после Москвы по своему значению партийной организации страны. Председательствует обычно Рудзутак — твердо, бесстрастно. Но центром, решающим даже своим обычным безмолвием, является Сталин. Все глаза направлены на него. Его многие в этом собрании не любят, даже ненавидят, — но пока что он — никто иной самодержец российского государства.

В комнате докладчиков сидят и ждут люди, которые в другие дни являются как бы полномочными хозяевами этого помещения: члены официального правительства, руководители различных учреждений коминтерна. Иногда и их заместители, особенно, когда они имеют отличные, свои точки зрения — и это известно политбюро. Политбюро любит сталкивать противоположные взгляды, любит натравливать людей друг на друга и не давать угасать вражде между ними. Это старая ленинская тактика: *Divide et impera*.

Чаще всего здесь ждут — обычно в каждом заседании — своей очереди Литвинов и Менжинский — Наркоминдел и глава ГПУ, политической поли-

ции. И то и другое учреждение во всех своих шагах руководятся непосредственно из политбюро. Еще Ленин был фактическим министром иностранных дел советской страны — имея при себе помощником Чичерина. Сталин следует здесь примеру Ленина. Именно Сталин является нынешним фактическим руководителем внешней политики советского государства — имея помощником и «статс-секретарем» Литвинова. Вместе с тем Сталин — и фактический глава политической полиции.

Когда заседает политбюро — в комнате докладчиков благоговѣйная тишина. Шелестят только газеты. Большинство, впрочем, перелистывает принесенные дела, освежает в памяти то, что придется сейчас докладывать и защищать. Это не легко: политбюро не всегда соглашается с докладчиком — и часто тому же Литвинову, придя сюда с одним предложением, приходится уходить с директивой совершенно обратной... Говорят здесь вполголоса.

Ждут порой долго. Прения в политбюро порой затягиваются, из практических, порой вырастают принципиальные споры; это единственное, пожалуй, сейчас собрание в советской стране, где говорят еще о принципах — хотя и меньше, чем прежде, в обществе Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина.

Секретарь вызывает каждого наркома или иного докладчика только по касающемуся его вопросу. Входя в зал этого заседания, все люди невольно сгибаются, понижают голос, заглушают свои шаги. Ведь эти вот люди вокруг совнаркомского стола — ведь они то и есть подлинная верховная власть огромной страны. Над ними нет никого, ничего, кроме судьбы и истории.

Доклад кончен — нарком может уходить. Его вовсе не касается, что думает и говорит политбюро по иным вопросам.

XVII.

Основой секретного аппарата, обслуживающего непосредственно Сталина и других секретарей ЦК, являются так называемые «помощники секретарей ЦК». Их в свою очередь обслуживает довольно многочисленный, подобранный из особо-доверенных и проверенных лиц технический аппарат.

У каждого из секретарей ЦК имеется несколько «помощников». В сущности — это ответственные секретари секретарей ЦК. Одни из них разгружают секретарей по приему, договариваются с посетителями, обрабатывают общую переписку, сносятся по телефону и т. д. Но самое главное — это уже в аппарате самого Сталина —, что ряд «помощников» специализируется на отдельных отраслях государственного управления, следят за всем, что делается в государственном аппарате, изучают повестки совнаркома, его протоколы, протоколы коллегий, наркоматов, доклады зарубежных послов; все ведомственные планы и наметки, все дела союзных и автономных республик, областей, губерний, готовят вопросы к докладу Сталину и по повестке политбюро. Чего-чего только не проходит через руки и мозги «помощников» — и переговоры с иностранными государствами; и торговля с заграницей; и организация пропаганды и разрушительной работы Коминтерна; и выборы в иностранные парламен-

ты; забастовки; возстания; подкупы заграничной прессы и общественных деятелей; постройка новых заводов; все вообще вопросы пятилетки; крестьянский вопрос; выборы в советы; вопросы армии, полиции, школы, церкви, литературы, театра и пр. и пр. — все продумывается, взвешивается, и на докладах у Сталина решается. Когда к Сталину или в политбюро приходит с докладом какой либо нарком — Сталин уже целиком подготовлен, знает даже больше, чем сам нарком, ибо его информировали по данному вопросу и другие смежные ведомства, информировало и вездесущее ГПУ, и Сталин часто знает даже не только то, что хочет ему данный нарком сказать, но и то, чего он сказать не хочет, но о чем в беседе с ближайшими людьми проговорился, а те донесли, и это на кружных путях дошло до «помощников», а через них и до Сталина. Само собой разумеется, что «помощники», особенно у Сталина, это очень квалифицированные люди, а главное, с большой работоспособностью, с системой в работе и исключительной доверительности. Наиболее близкий Сталину человек, фактический его личный секретарь, это Товстуха, раньше бывший секретарем, кажется, Киевского Губкома. Ему доверяются, между прочим, и такие высоко-ответственные вещи, как редактирование сочинений Ленина, ведение музеем и институтом Ленина, где хранятся и откуда в нужный момент появляются «неопубликованные письма» Ленина. Из других «помощников» Сталина наиболее известны были Рошаль (брат известного кронштадтского Рошалья, убитого во время гражданской войны) и Мехлис.

«Помощники» — это большая власть. На них отражается блеск тех светил, при которых они состоят. Никто из руководителей государственного аппарата,

когда к нему обращается тот или иной «помощник», не знает, говорит ли он по поручению своего патрона, или от себя. Да и разницы особой нет, так как все равно то, что узнает «помощник», будет известно — если это важно — секретарю ЦК. Обычная формула: «Товарищ Сталин спрашивает... Пришлите нам... Сообщите...» — Мне не раз приходилось наблюдать, как руководящие люди государственных учреждений, когда у них в кабинете раздавался телефонный вызов из секретариата Сталина, невольно подымались и вели разговор, стоя. Смешно, нелепо, как будто, но показывает, какая сила Сталин и его аппарат — и как к кому относятся в подчиненных правительственных кругах.

...И днем и ночью непрерывной волной прямым проводом телефона и телеграфа в секретные комнаты этого дома стекаются сведения обо всем, что делается в России И начиная от Москвы и вплоть до самых отдаленных и глухих углов — отсюда же в ответ идут указания, разъяснения, даже боевые приказы. Только здесь знают полную правду о жизни страны. Мне приходилось уже рассказывать как-то, что когда несколько лет назад на Кавказе было кровопролитное восстание, никто в Москве, никто в остальной России — ни даже официальный глава государства, Калинин, ни глава официального правительства, Рыков, ни члены политбюро, не знали о нем, пока оно не было окончательно подавлено. А восстание длилось несколько недель. Зато в этом доме знали все — и отсюда, из секретариата Сталина, по секретным прямым проводам, минуя официальную советскую власть, шли распоряжения органам армии и полиции и местным партийным комитетам. Так бывает часто. И когда Сталин, в определенные дни и часы — обычно по четвергам, к

часу дня — захватив с собой нужных людей и бумаги, садится в автомобиль и едет в Кремль в заседание политбюро, — он никогда не берет с собой всего, что накопилось за истекшую неделю. Многие из того, что случилось на просторах России, остается похороненным в сейфах его личной канцелярии, — много есть и остается такого, что знает только он и никто больше. И в этом одна из многих причин его силы.

Но основа власти Сталина и руководимого им центрального партийного аппарата — это власть над людьми. Это самая страшная и самая прочная власть. Тот, кто имеет ее, правит государством*). Сейчас эта власть — в сером доме в Китай-городе. Те, кто сидят в Кремле, в здании, носящем в городе название «дом рабоче-крестьянского правительства», те, кто собирается в Большом дворце, в залитом золотом Андреевском зале, съезды партии, ее конференции и пленумы, те, наконец, что съезжаются со всей России в Большой Московский театр на съезды советов, — все это только по видимости «высшая», «верховная» власть. На самом же деле — это послушные чиновники, во всем зависящие от центрального партийного аппарата и его главы. Оттуда распоряжаются ими, как картонными паяцами: дергают веревочку, получается нужное движение. Так же распоряжаются из серого дома в Китай-городе каждым человеком из всей многомиллионной армии советского партийно-государственного аппарата. Ослушаться велений этого дома никто на всем пространстве России не смеет.

Но откуда эта страшная власть? — В чем?

Вот в чем:

*) Каганович: «Решающий вопрос — это подбор людей.»
Отчет ЦК XVI съезду. 146

Надо представить себе и твердо запомнить: в городах советской России, кроме небольшого числа ремесленников, немногочисленных сохранившихся частных торговцев (которые все работают только сами, своей семьей, никому другому работы дать не могут, ибо иначе станут «эксплоататарами»), да лиц, вообще неизвестно чем живущих, «мешечников», босяков и т. п. — частных людей нет. В России, помимо наркоматов, исполкомов, всех школ и пр., и все банки, железные дороги, фабрики, торговые предприятия, даже кооперативная сеть, все профессиональные союзы, газеты, издательства, больницы, все, вплоть до аптек и бань, все, что угодно — все государственное. Люди так называемых «свободных профессий» тоже в полной зависимости от государства. Врач может иметь частную практику лишь как нечто подсобное, но он должен состоять на государственной службе, ибо иначе не будет иметь ни достаточной жилой площади, ни инструментов и лекарств, будет обложен непосильными налогами. Адвокатов, т. н. «правозаступников», которых расплодилось довольно много во времена нэпа, сейчас почти нет; те, что остались, стали тоже государственными служащими, выполняющими государственные задания. Нотариусы — государственные чиновники, на жалованьи. Артист — тоже государственный чиновник, поскольку частных театров нет. Писателю негде работать, кроме как только в государственных издательствах, газетах, журналах. Художник может жить только государственными заказами, ибо частных покупателей на картины и скульптуру нет. Словом, людей «свободных профессий», независимых от государства нет, кроме, пожалуй, воров, убийц, проституток, да и в этой категории значительную часть можно тоже рас-

сма­тривать, как го­су­дар­ствен­ных агентов. Жи­вет на «част­ный до­ход» немно­го­чис­лен­ное оста­в­шее­ся ду­хов­ство, но, во пер­вых, это уж под­лин­ные па­рии ны­неш­не­го строя, их жизнь ужасна, во вто­рых, и у них за­ви­си­мость от го­су­дар­ства ис­клю­чи­тель­но сильна: рус­ская цер­ковь на­хо­дится под вы­со­ким по­крови­тель­ством и при­смот­ром ГПУ, и не­угод­но­му свя­щен­ни­ку лег­че-лег­ко­го ли­шиться при­хода, за­ра­бот­ка, по­пасть в ссы­лку и тю­рь­му.

Что все это зна­чит? — Что по­дав­ляю­щее боль­шин­ство го­род­ско­го на­се­ле­ния стра­ны — и не­ко­то­рая часть сель­ско­го — это слу­жа­щие и ра­бочие го­су­дар­ства. Они по­лу­чают от не­го свой кусок хле­ба — и на­хо­дятся от не­го в пол­ной ма­те­ри­аль­ной за­ви­си­мо­сти. Если го­су­дар­ство ли­шит че­ло­ве­ка ра­боты, да еще вы­гонит с вол­чьими па­с­пор­том, т. е. ли­шит пра­ва на ра­боту в го­су­дар­ствен­ных уч­ре­жде­ниях и пред­при­ятиях во­обще — та­кой че­ло­век, будь то быв­ший нар­ком или курь­ер нар­комата, об­ре­чен на го­лод­ную смерть.

Вся жизнь этих лю­дей, сле­до­ва­тель­но, на­хо­дится в ру­ках го­су­дар­ства. Вся­кое улу­ч­ше­ние этой жизни за­ви­сит от го­су­дар­ства, свя­зано с успе­хами, с про­дви­же­нием по го­су­дар­ствен­ной служ­бе. Сле­до­ва­тель­но, что­бы жить и успе­вать в жизни, на­до быть по­слуш­ным ра­бом го­су­дар­ства. Ина­че по­гиб­нешь, или бу­дешь про­зя­бать в тени, в не­из­вест­но­сти, в ни­щете.

В Рос­сии — по дан­ным 1929-30 г. — 158,5 милл. на­се­ле­ния. Из них на «сель­ско-хо­зяй­ствен­ное на­се­ле­ние» при­хо­дится 117,7 милл. В го­ро­дах — 40,8 милл. Из них слу­жа­щих 12,10 милл., ра­бочих 15,38 милл. «прочих» 13,37 милл.*).

*) В рас­счете — и семьи. Циф­ры взяты из сбор­ника Гос­пла­на «На но­вом эта­пе со­ци­али­сти­че­ско­го строи­тель­

В наименьшей зависимости от государства находится рабочая масса. Это вытекает, во первых, из особенностей фабричного, массового труда, из условий жизни фабрики. На фабриках люди гораздо сплоченнее, обычно выступают именно массой, а массе всегда легче бороться и сопротивляться, чем отрозненной личности, каковой является служащий государственного учреждения. Масса всегда может покрыть собою личность: это помогает, хотя и не всегда. Во-вторых, советская власть усиленно ухаживает за рабочими. В крестьянской стране — это единственная политическая ее опора. В то же время рабочий, особенно квалифицированный, сейчас, в условиях индустриального строительства, гораздо нужнее, чем любой чиновник. Чиновников перепроизводство — и одного легко заменить другим. Рабочих, тем более квалифицированных, постоянная нехватка, их приходится и так выписывать из за границы. Поэтому часто бывает, что даже уволенного за серьезные проступки рабочего тотчас же принимают в другом месте. Ну, а выгнанного наркома или секретаря губкома никто и нигде не возьмет, пока его не помирует ЦК партии.

Рабочих в массе нельзя поэтому рассматривать, как «аппаратную» армию правительства. Возьмем поэтому только 12,10 милл. служащих, прибавим к ним небольшую часть «аппаратно»-зависимой прослойки из рабочей среды, какое то количество «прочих», и сельскую «аппаратную» прослойку — и получим минимум 15 миллионов человек, зажатых в тиски полной материальной зависимости от государства, его рабов, его «аппарат», которым оно — методами морального

ства». М. 1930. Т. I. Сейчас цифра служащих и рабочих увеличилась.

и физического воздействия — держит в руках все население страны.

Так вот: партия своей организацией сумела себе обеспечить распоряжение судьбами всех этих 15 миллионов. Не «государственные» учреждения, но партия имеет монопольное право принимать на службу, перемещать, повышать, снижать, увольнять, лишать хлеба каждого из этих 15 миллионов. А через них она держит в руках все остальные 140 с лишним миллионов населения России.

Власть над людьми, над их судьбами, повторяю, самая страшная и самая прочная власть!

XVIII.

Самой важной частью общего аппарата центрального комитета партии является организационно-распределительный отдел (орграспред). Им обязательно заведует член ЦК — из доверенных людей Сталина (Гей, Москвин). Общее наблюдение за его работой лежит на ближайшем помощнике Сталина — прежде это был Молотов, теперь Каганович и Постышев. У заведующего орграспредом один заместитель и несколько помощников. Каждый из помощников специализируется на отдельной отрасли партийно-государственного аппарата. Одни сидят исключительно на людях центрального партийного аппарата, другие ведают местным партийным аппаратом, третий административными советскими учреждениями, армией, хозяйственными учреждениями, профсоюзами, кооперативами и т. д. Каждый сно-

сится с подведомственными ему учреждениями, собирает в них обстоятельные справки о людях, о их работе, о их характере, личной жизни, о взаимоотношениях меж людьми учреждения; время от времени он вызывает к себе тех или иных сотрудников учреждения, совещается с секретарем ячейки, запрашивает мнения наркома, членов коллегии, посещает сам собрания ячейки, общие собрания сотрудников, заглядывает в канцелярии и кабинеты учреждений, знакомится с людьми на месте, — и в конце концов, через некоторое время работы на данной должности он в курсе всех сокровеннейших сторон жизни и работы данного ведомства, знаком не только со служебной, но и с личной жизнью его людей. Кроме помощников орграспреда в аппарате этого отдела имеются еще инструктора, которые восполняют своей работой то, чего не удастся сделать помощнику: прорабатывают отдельные, наиболее интересные дела, бывают в учреждениях и т. д. Вот все это дает возможность центральному комитету партии иметь обстоятельнейшее «дело» на каждого подведомственного ему человека. В этом «деле» сосредоточено не только то, что говорят о данном человеке формальные документы, но и то, что говорят о нем люди: сослуживцы, начальство, друзья, враги; наконец, и личные впечатления о нем работников ЦК. При всяком почти серьезном назначении или перемещении помощник орграспреда вызывает к себе намеченное лицо, беседует с ним, выясняет в беседе его пригодность или непригодность, составляет себе о нем общее мнение, раз он его еще не знает, проверяет личными впечатлениями данные «дела». Наконец, ЦКК и ГПУ сообщают свои сведения.

Особенно тщательно в каждом «деле» подбирается

все, что может компрометировать данного человека, при случае даже его уничтожить. Ведь именно этим легче всего держать людей в руках. И это не так трудно, ибо абсолютно безгрешных людей вообще нет, а особенно в эпоху революции, когда нет ясных, все предусматривающих законов, традиций, когда во многом должно руководствоваться своим разумением, «революционной совестью». Здесь даже у честного человека легко можно найти тьму промахов. Да и вообще загрязнить самого чистого человека, если это только нужно, легко. Если нет настоящих документов — их можно сфабриковать. Нет дел — можно поставить в вину мысли. Не надо забывать, что нигде нет такой ожесточенной «склоки», как в советских учреждениях, такой борьбы за места, такого подсиживания друг друга. Все это рождает доносы, улавливание друг друга в заседаниях и партийных ячеек и деловых органов — и все это рано или поздно находит отражение в «деле».

Центральный комитет партии не ведает, конечно, всем служилым людом партийно-государственного аппарата громадной России. Это нелегко — тогда пришлось бы потонуть в делах. Да в этом нет и необходимости.

Центральным комитетом разработана точная номенклатура унифицированных должностей всего партийно-государственного аппарата страны — в центре и на местах. Все должности этой номенклатуры разбиты на категории — по «масштабам»: должности (и работники) общесоюзного, республиканского, областного, губернского, уездного, волостного масштаба. И точно указано, какая партийная инстанция какими должностями ведает. Сам центральный комитет ведает только вершущими должностями центрального и мест-

ного (не ниже губернии) аппарата: все люди по этим должностям в своих назначениях и перемещениях всецело зависят от ЦК. И этого достаточно, ибо поскольку ЦК обеспечено непосредственное влияние на вершущихся людей центральных и местных аппаратов, то через них уже можно держать в руках аппарат всей остальной России. В общем в центральном комитете сосредоточено ведение судьбами всего нескольких тысяч человек — около десяти тысяч, примерно. А эти десять тысяч, в свою очередь, под контролем ЦК держат в своих руках судьбы всего остального служилого люда России.

Внутри самого ЦК особым номенклатурным списком точно определено, какая инстанция ЦК должностями занимается. Первая, нисшая инстанция — это совещание при орграспреде ЦК, в составе его заведующего, заместителя, помощников и инструкторов*). Там окончательно решается судьба по нисшим из вершущихся должностей, по остальным (кроме самых высоких, которые там вообще обсуждению не подлежат) выносится предварительное суждение, идущее с «делом» в более высокую инстанцию. Следующая инстанция — секретариат, следующая оргбюро, и наконец, политбюро, где решаются персональные вопросы наркомов, членов ЦК и ЦКК, ЦИК'а, руководителей союзных республик, членов коллегий нарком-

*) Эти совещания ведены были Кагановичем. «Кроме того применяется комиссионная предварительная проработка вопросов личного состава руководящего кадра. Таких комиссий в составе Орграспреда имеется несколько. Это — комиссии по промышленности, по торговле, кооперации и советская комиссия». Из отчета ревизионной комиссии ЦК XV съезду. Стен. отчет XV съезда. 115.

матов, высшего руководства профсоюзами, высшего командования армии, руководителей крупнейших промышленных и торговых предприятий, секретарей областных и губернских комитетов, полпредов и торгпредов и советников, крупнейших полпредств заграницей и т. д.

Ни нарком, ни коллегия ни одного из центральных учреждений в Москве не могут произвести ни одного перемещения или назначения коммуниста без ведома и санкции партийных органов — по высшим должностям ЦК, по низшим соответственного районного комитета Москвы. Руководители учреждения только «намечают» — дальше идет «согласования» с партией. Учреждение пишет в партийный орган секретную бумажку, в которой сообщает, что им намечены такие то и такие персональные перемены и просит их «подтвердить». Чем выше должность, тем дольше тянется ее «оформление» (кроме опять таки самых высоких, где заинтересовано само правительство, политбюро, и которые не возникают по инициативе ведомств, но по инициативе политбюро или отдельных его членов). Иногда оно длится несколько недель. Вопрос переходит из одной «инстанции» в другую, переносится с недели на неделю, не всегда успевают его рассмотреть в данном заседании. Зачастую «оформление» невероятно изматывает людей, особенно тех, кто приехал в Москву из провинции или из за границы и ждет нового назначения без дела*). Очень часто бывает, что «инстанция»

*) Между прочим: длительность оформления назначений стоит государству больших денег. Ведь пока назначение не «оформлено», тот, кого снимают, сидит еще на своей должности и получает жалованье, тот же, кого наметили к назначению, находится «в резерве» (ЦК партии или учреждения), а его прежняя должность часто уже занята. По «резерву» пла-

вовсе не соглашается с предложением ведомства и предлагает своего, ведомству неизвестного кандидата — со стороны. Часто бывает, что это подстраивается людьми партийного аппарата, чтобы посадить на серьезную должность своего друга или знакомого. Сами «инстанции» в подоплеку каждого назначения глубоко вникать не могут, для них большая часть проходящих по протоколу людей это только имена, ничего не говорящие — и это сплошь да рядом открывает самые широкие возможности для недобросовестного, протекционистского влияния нисших звеньев аппарата орграспреда ЦК, или для сведения личных счетов и т. д. В каждом назначении, конечно, говорят свое слово ГПУ и ЦКК.

В каждом центральном учреждении имеется свой учетно-распределительный отдел. Эти отделы являются фактически — да и формально, поскольку это оговорено соответственными распоряжениями партии — органами орграспреда ЦК. Во главе этих отделов стоят люди, специально подбираемые орграспредом, обычно из его инструкторов, знакомые с техникой его работы, знающие его требования, непрестанно сносящиеся с ним для получения указаний и для сообщения информации о личном составе учреждений. Сношения эти производятся часто тайно и помимо высшего начальства учреждения. Через эти отделы орграспред следит за движением и беспартийного состава, определяет назначения и перемещения его, когда нужно, вмешивается в них. Наиболее крупные назначения беспартий-

тятся обычно пониженный оклад — но все-таки это в общей сумме значительное увеличение расходов по зарплате. Чем хуже работает данный состав Орграспреда, тем выше такие расходы.

ных — напр., заведующего отделом какого либо крупного центрального учреждения, дела членов Академии Наук, профессуры и т. д. — проходят и формально через аппарат партии, обсуждаются в секретариате или оргбюро.

Таков же порядок и на местах: там тоже все назначения идут через комитеты партии.

Таким образом, весь без исключения служилый люд России, как партийный, так и беспартийный, все винтики, все колесики партийно-государственного аппарата не только находятся на учете у партии, но партия и никто иной определяет их судьбу.

... Чтобы обеспечить за собой страшную свою власть над людьми, партия должна была прибрать к своим рукам все органы террора и сыска, духовного и физического, прямо подчинить их себе, сделать их — скрыто или даже открыто — частями своего аппарата. С этими подсобными органами партии, с их особенностями, тоже надо ознакомиться. Но прежде, чем перейти к ним, пора посмотреть на людей, создавших нынешнюю силу партийного аппарата. Сталина мы знаем. Познакомимся с Молотовым.

XIX.

В его внешности есть что то общее с Лениным. Только, пожалуй, у него еще более резко выраженный русско-азиатский тип. Широкие скулы, широкий выпуклый лоб, упрямо вздернутый нос, выдвинувшийся вперед сильный подбородок, маленькие узкие, острые

глаза. Только бороды он не носит — вместо нее на верхней губе маленькие усики. В глазах — что то жесткое, даже жестокое, холодное, непреклонное, как металл. Он близорук — и потому носит пенсне. Это делает взгляд его глаз еще более острым. Губы обычно изогнуты в насмешливой и немного презрительной усмешке. Эта усмешка — и свойственная многим людям маленького роста манера откидывать голову назад, придают ему несколько надменный и вызывающий вид.

Одет он обычно в темный пиджачек, под ним кофеворотка, либо мягкая рубашка, на голове кепка. Летом — парусиновая блуза, такие же штаны и туфли. Не то сектантский проповедник, не то сельский учитель.

Никакого щегольства, никакой театральности в его внешности. Зато все удивительно чисто: ни пылинки, ни пятнышка. Он болезненно любит чистоту и порядок. В его маленькой квартире мебель — простенькая, самая необходимая — всегда в чехлах. Пол блестит, как зеркало. Чистенькие половички.

Он требователен к другим. Но прежде всего он дисциплинировал себя самого. У него, если внимательно присмотреться к его жизни, нет как будто никаких человеческих слабостей, даже самых маленьких.

— Революция много требует от всех: жертв, подвигов. Требуя от других, мы, стоящие наверху, еще больше должны требовать от себя. Мы должны показывать пример.

Так думает, так говорит он. И может быть именно за это многие так его не любят — особенно люди старшего поколения и эмигрантского воспитания, которые рассматривают революцию только как постав-

щика для них лично жизненных благ, а народ — как раба и дойную корову.

Он не курит. Не пьет. Крайне умерен в пище, предпочитает растительный стол. Развлечений почти не знает. Если хочет отдохнуть — сидит дома, в кругу семьи, своих. Там всегда находятся занятия которые отвлекают мысль от утомительных дел. Можно, например, подрезать, поливать цветы, которые он очень любит и которыми у него, как прежде у Ленина, заставлены окна. Можно сесть за дельную, серьезную книгу. Но только не праздные разговоры, не сплетни. Этого он не переносит.

Впрочем, ему редко приходится бывать дома. Обычно только для обеда, да для нескольких часов сна. Весь он и все его время отданы работе. Никто в советской стране не обладает такой работоспособностью, как он. Никто не может просидеть за письменным столом столько часов подряд, ни на минуту не отвлекаясь от работы. Его усидчивость вошла в поговорку. А один из его врагов, Радек, дал ему кличку: каменный зад.

Работает он с удивительной систематичностью. Того же требует от других. Когда он председательствует, то немилосердно обрывает ораторов. Ближе к делу! Меньше пустых фраз! Сам говорит всегда скуп и деловито. Некогда! Жизнь коротка, времени мало, работы тьма. Так говорил и Ленин.

Его настоящая фамилия Скрябин. Молотов — это псевдоним, которым окрестила его партия. Он взят от слова молот.

Он из чисто-русской семьи. Родился и вырос в настоящей русской провинции. Потому то он не только говорит на чистом русском языке, но и мыслит по рус-

ски. Его душа, как душа почти всех еще русских коммунистов, покрыта толстой кожурой марксистских предрассудков; но под ней — большая любовь к родной стране, — та же любовь, которая в конце концов стала отрывать от марксизма и сделала русским патриотом Ленина.

Не надо забывать: Молотову всего сорок лет. Он принадлежит к поколению, которое большую часть сознательной жизни провело в обстановке войны и революции — и под их ударами воспиталось. Это значило: воспитание не в абстрактной атмосфере заграничных эмигрантских кафе, но в гуще живого народа. Поэтому Молотов еще более русский, чем его предшественники. Для него самое главное — не отвлеченная теория, но живые потребности народа. Он может ошибаться в определении их — но всегда будет меньше ошибаться, чем Троцкий, меньше даже, чем Сталин, который тоже вырос в России, но, во первых, больше азиат, чем русский, во вторых... на десять лет старше Молотова. Иными словами: на десять лет дольше окунался в старый мир...

Отец Молотова был прикащик. Отец хотел, чтобы сын пошел дальше его в жизненной карьере. Поэтому напрягал все силы, чтобы дать ему образование. Молотов учился сначала в реальном училище, потом в петроградском политехникуме. Образования не кончил: помешала революция.

Шестнадцать лет он вошел в большевистскую партию. Вошел в то время, когда другие — под ударами начинающейся реакции — убегали из нее. Толкнула его в революцию не собственная тяжелая жизнь, не желание собственную судьбу устроить лучше: ни нужды, ни угнетения на себе самом он не испытывал; при

его способностях и при старом строе он скоро стал бы выдающимся человеком. Но в нем говорило то стремление к социальной правде, которое было так характерно для русской интеллигенции, и которое толкало ее на революционную работу, в тюрьмы, на каторгу, часто на смерть.

Он прошел всю суровую школу революционного подполья. Сидел в тюрьме. Высылался в северную глушь. В промежутках продолжал напряженно учиться. И все с большей активностью работал в партии. К моменту февральской революции он был одним из руководителей петроградской ее организации.

Первые дни февральской революции поставили двадцатипятилетнего Молотова в центре событий. Ленин и заграничный центр партии были далеко, были отрезаны фронтами и военной цензурой, партией руководить не могли. Другие «вожди» были в Сибири. Молотову и еще нескольким людям партии, которые в тот момент были в Петрограде, пришлось взять на себя ответственность за ее центральное руководство. Молотов и Шляпников руководили тогда и центральным органом партии, «Правдой». Молотов взял очень левый курс, во многом совпадавший с установками Ленина.

Потом приехали из Сибири Каменев и Сталин. Руководство партией перешло к ним. Потом приехал Ленин — и все подчинил своей воле. Молотов отошел на второй план, но продолжал играть значительную роль.

После октябрьской революции Молотов с головой ушел в хозяйственные вопросы. На фронтах гражданской войны он не был. С его именем не связаны поэтому яркие драматические моменты, громкие дела. Но он был одним из тех, кто упорной работой организо-

вал победу в тылу. В его руках одно время были сосредоточены заботы о топливе. Для жизни страны, для победы армией, для победы революции оно было так же необходимо, как хлеб.

Еще в Петрограде, еще до октября, Сталин оценил значение этого человека. Когда Сталин сделался генеральным секретарем партии, он перетянул Молотова в Москву. Молотов стал членом центрального комитета партии и ее вторым секретарем.

Это назначение, а, главное, то, что скоро все почувствовали силу этого незаметного на вид человека, вызвало большое возмущение в кругах Троцкого, в старом партийном болоте. Со Сталиным, с его выдвижением и превосходством, они как то еще могли примиряться. Боролись с ним — но считали за равного себе. Все-таки он был близкий Ленину человек, и хоть не принадлежал к эмигрантской «аристократии», но входил все же в «старую гвардию большевизма», давно уже, еще до революции, играл в партии значительную роль. Но Молотов! Что он такое? — Выскочка, новый, неизвестный человек. Как смеет он становиться рядом с ними, со старой партийной аристократией?! Ведь если так пойдет дальше, то скоро вообще вся эта «аристократия» будет вытеснена, оттеснена на задний план ничтожными, простыми русскими людьми его типа.

Молотова сразу же окружили атмосферой недоброжелательства. На каждом шагу «старая гвардия» старалась показать ему свое пренебрежение. Вот тогда то и был создан тот глубоко неверный образ Молотова, который с легкой руки троцкистов усвоила себе и часть европейской прессы: Молотов де усидчивая посредственность — и только. Человек без знаний, без

талантов, даже без собственного я. Приниженная тень Сталина — вот кто он!

Все это только смешило, но не волновало Молотова. Он знал свои силы — и потому оставался нечувствительным к насмешкам, даже к клевете.

Как то в заседании политбюро Троцкий бросил резкую фразу о «ничтожествах», желающих стоять наравне со старыми вождями. Всем было ясно, по ком бьет Троцкий. Все смолкли, выжидательно посматривая на Молотова.

Молотов принял вызов. Спокойно улыбнулся. Тихо, как всегда немного заикаясь, сказал:

— Не всем же дано быть гениями, товарищ Троцкий. А сильнейший всегда тот, кто побеждает.

Жизнь скоро показала, кто был тогда прав. Гений Троцкого был под руку снесен чекистами с лестницы московской квартиры, упакован, отправлен сначала в среднюю Азию, потом на берега Мраморного моря — творить мемуары и памфлеты. Молотов стал человеком настоящего — и, возможно, и будущего России.

Больше, чем кому бы то ни было, обязан Сталин Молотову своим возвышением и победой над противниками. Молотов оказался прекрасным организатором.

Это Молотов сплотил вокруг Сталина людей своего поколения, людей войны и революции, людей жестких, твердых, суровых, дело предпочитавших теории, во главу угла ставивших не абстрактные идеи, а судьбы родной страны. Людей, которые поэтому инстинктивно стремились преодолеть и в себе и в жизни марксизм, (его воплощение они видели в Троцком и в окружавшей его мрази) и на место его антинациональных тенденций поставить интересы русской нации и русского государства.

Это Молотов создал из партийного аппарата ту страшную силу, какой он является еще и сейчас. Так было нужно — ибо те, с кем боролись, старая марксистско-интернациональная клика, они занимали все командные посты в государстве, преобладали и в высших коллективных органах партии. Победить их можно было только подчинив партийному аппарату государство — и уничтожив в самой партии «демократизм», поставив в ней волю генерального секретаря и его ближайшего окружения выше воли коллективных органов, т. е. олигархии интернационалистов. Все это удалось потому, что было исторически необходимо. Это было началом перевода революции на национальные рельсы.

Недаром Троцкий уже идейные установки Сталина и систему его дел назвал национал-социализмом. Это было в общем неверно, ибо марксизм, несовместимый с подлинным национал-социализмом, при Сталине далеко еще не изжит. То и дело он пытается ожить, как осенняя муха. Как осенняя муха, при каждой такой попытке он больно кусается, и оставляет новые и новые раны на теле страны. Но с каждым разом и оживает и кусается он все слабее. Россия постепенно все основательнее стряхивает с себя назойливую муху марксизма — и все дальше идет по пути к национальному строю. Победа Сталина была первой ступенью на этом пути, поскольку она сломала хребет основным силам боевого марксизма в нашей стране.

Возвышение Молотова и людей, шедших за ним, было второй ступенью. Ибо их руками было начато революционно-социальное органическое пересоздание нашей страны, положившее начало, подготовившее почву для идей и людей подлинного национализма.

Ближайший Молотову человек — это Андреев. Он еще моложе: всего тридцать шесть лет. По внешности — типичный русский и типичный интеллигент из рабочих. Он из того нового слоя советских сановников, которые не успели еще обрасти жиром от постоянного сидения за письменным столом или на мягких подушках автомобиля, от сытных кремлевских борщей и пирогов, от комфортабельной и спокойной жизни. Андреев не умеет спокойно жить. Его худая фигура и тонкое нервное лицо в постоянном движении. Большие глаза всегда лихорадочно возбуждены. Общий вид измученный, нездоровый. Ест наспех, кое что и кое как; спит мало; всегда торопится, всегда волнуется. Не только тело — и душа у него не обрасла жиром. И он все глубоко и горячо переживает: всякую, самую маленькую неудачу или ошибку в работе, всякую несправедливость, всякую непорядочность и ложь. А больше всего — что несмотря на все усилия, на жертвы, несмотря на все высокие слова и «самые правильные» идеи — жизнь народа, его родного народа, не улучшается. И что сам он — теряется, путается в сложности окружающей жизни.

Андреев принадлежит к тем, кому нет иного названия, как «фанатики революции». Такие люди носят в себе неизсякаемый источник энергии. Такие люди, ради идеи, ради дела, которым они служат, готовы на все. Убедите Андреева, что участь народа улучшится от того, что он сожжет свою руку, всего себя — он не задумается ни на минуту. Он и так, впрочем, сжигает себя на работе.

Такие люди могут принести неисчислимую пользу.

Такие люди часто приносят и огромный вред. Вот такого же типа, между прочим, был Дзержинский. Все зависит от того — на правильном ли пути эти люди. Андреев много путался. Путается, несомненно, и сейчас. Жизнь России, как и жизнь всего современного мира, сложна невероятно, будущее темно — и вообще, повидимому, непохоже на старенькие теории о ней XIX века... Но многое говорит за то, что Андреев, как и его друг, спокойный, методичный, рассудительный Молотов, выходят сейчас на правильный путь. Одному помогает огромное практическое чутье — другому, Андрееву, то, что он подлинный сын русских народных масс, плоть их от плоти. Ему лучше, чем кому либо, дано понимать народные нужды. Там, где отказывает теория, где она путает — приходит на помощь инстинкт крови, сродства.

Он родился и вырос в беднейшей крестьянской семье, в ужасающей нищете, грязи, забитости. В двенадцать лет стал зарабатывать свой кусок хлеба мальчиком в провинциальном трактире. Надо знать, что такое русский дореволюционный трактир «третьего разряда!» Туда приходили окрестные крестьяне и городская беднота пропивать последнюю копейку — чтобы хоть на минуту забыть свою горькую жизнь. Упав лицом на грязный стол, там часто плакали, как беспомощные дети, суровые бородатые люди. И с ними плакали звуки созданной веками народного горя русской песни, которую тут же среди шума исполняли надтреснутыми голосами одетые в разноцветные лохмотья певцы. И тут же раздавались кощунственные проклятия, дикая брань, на которую так изобретателен русский человек. Тут же сидели, хрипло смеялись спитые, страшные, потерявшие всякий человеческий об-

лик женщины — готовые на все за глоток водки, за кусок мяса, за несколько жалких копеек. Тут разыгрывались порой сцены самого грубого разврата... Впрочем, те же женщины подчас находили в себе и способность к бесконечной, трогательной, мягко-материнской — несмотря на грубоватость внешних ее проявлений — нежности, — и это тоже тянуло к ним приходивших сюда людей... Тут дрались. Порой убивали. Вот и в этой атмосфере, напитанной водкой, руганью, слезами, больным смехом, началась жизненная карьера нынешнего наркома и члена политбюро Андреева. С утра и до поздней ночи носился он с чайниками, с графинами водки — не имея права уставать, передохнуть. Порой от усталости готов был свалиться — но тяжелый кулак хозяина гнал его дальше. Короткие часы ночи — полуголодный, разбитый — он проводил на полу смрадного чулана на куче грязного тряпья. Чуть в окна проникал серый свет рассвета — жизнь мальчика Андреева начиналась снова.

Был силен внутренне: не сломился, не исковеркался, выбился. Стал квалифицированным рабочим на большом заводе. Научился читать и писать. Одну за другой стал поглощать книги. Книги объясняли жизнь, жизнь поясняла то, что было неясно в книгах — и так, не получив никакого школьного образования, он вошел в революцию очень знающим и глубоко мыслящим человеком. И сейчас каждую свободную минуту он отдает на то, чтобы что-нибудь новое вычитать, узнать.

Как и Молотов — шестнадцати лет он вступил в большевистскую партию. Сидел в тюрьме, высылался. К февральской революции вместе с Молотовым оказался в Петрограде во главе комитета партии.

В дальнейшем революция бросала его с одного ответственного поста на другой. Специализовался он, главным образом, на профсоюзной работе. Это сближало с рабочей массой. Давало возможность ближе узнавать ее нужды, быстрее и непосредственное помогать им. Будучи председателем союза железнодорожников, Андреев впервые резко столкнулся с Троцким, бывшим тогда наркомом путей сообщения. Он не мог примириться с бюрократизмом Троцкого, с его отношением к рабочей массе, как к стаду безличных скотов, которым можно управлять только приказом и насилием. Началась борьба с системой «комиссарства» на транспорте, в результате которой Троцкий должен был уйти, а Андреев, как представитель подлинной рабочей среды, был втянут Лениным в работу центрального комитета партии, сделан третьим ее секретарем.

Там он встретился вновь и вновь сблизился с Молотовым — и в дальнейшем помог ему организовать аппарат партии и сплотить вокруг него молодые поколения людей народа и революции.

Он много помог и предпринятой Сталиным и Молотовым перестройке государственного аппарата. В дальнейшем, вместе с Молотовым, стал пионером коллективизации и одним из самых энергичных и жестких проводников ее.

...Как и Молотов, Андреев мыслил прямолинейно — и в действиях тоже предпочитал прямой, безоглядный путь. Оба были молоды, оба верили в революцию, в ее спасительность для страны и народа, для всего мира — и оба были готовы на любые крайности, ради проведения в жизнь программы революции, которая вначале казалась им — еще не прозревшим под холодным душем жизни выученикам схемати-

ческого марксизма — ясной и простой. Оба поэтому как и большинство революционной молодежи — приняли с некоторым недоброжелательством нэп. Не есть ли это капитуляция, отказ от принципов революции, отказ от немедленного воплощения в жизнь социализма?

Но нэп проводил Ленин, бывший для них безусловным авторитетом. К тому же здоровый инстинкт обоих, знание масс, немалый опыт в государственной работе, — все говорило, что иного пути сейчас нет, раз нет революции в мировом масштабе, и надо действовать в крестьянской России. Еще кружилась, правда, голова от триумфального шествия первых лет революции, когда моря казались по колено, когда всего, казалось, можно было достигнуть мужеством, решимостью, верой в свое дело, когда весь мир казался объатым революционным огнем и не сегодня-завтра над ним должно было взвиться знамя мировой социальной революции. Но разум заставлял находить равновесие, переключаться на медленную поступь органической перестройки собственной страны — на «социализм в одной стране».

XXI.

Ленин умер. Осуществлять его политическое завещание история временно поручила Сталину.

Молотов и Андреев долгое время безоглядно шли за ним. Поддерживали его и тогда, когда он пытался пройти к будущему мирным путем, по линии примире-

ния и сотрудничества классов страны,— и тогда, когда он, под давлением враждебных ему сил, главным образом, троцкистско-марксистской контр-революции, перешел на более привычный ему и им путь насилия, жесткой диктатуры.

И Молотов и Андреев шли за Сталиным не потому, что хотели только власти для себя, а он был источником власти, — но главным образом потому, что верили в него, считали его путь своим. Им, как и Сталину, хотелось поскорее построить социалистический рай в родной стране, сделать ее лучшей и самой счастливой страной мира. Они, как и Сталин, верили, что единственный путь к этому — через индустриализацию страны, через коллективизацию ее сельского хозяйства. Разве не это завещал Ленин? — Перед самой смертью он говорил: Россия будет сильной и независимой только тогда, когда переседет «с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой... на лошадь крупной машинной индустрии»... И что кооперация крестьянства — это уже социализм, при наличии политической власти в руках трудящихся и при системе госкапитализма. Но все это оказалось не так легко — и не вышло на тех мирных путях, о которых писал Ленин.

Что ж делать? — Остается одно: страну и народ подтолкнуть силой преобразующей власти — во что бы то ни стало, ценой любых жертв. Там, где бессильна пропаганда власти, — пусть упадет ее железный кулак. Что из того, что сегодня люди страдают, льются слезы и кровь?! Это временно. Это переходный период. Зато, как счастливы будут будущие поколения. Не надо забывать: без напряжения, без жертв в истории человечества ничто и никогда не достигалось!

Так рассуждал Сталин. Так рассуждали они.

Иной раз приходило раздумье: не слишком ли много жертв? не слишком ли — несоответственно — мало результатов?—Но что ж тогда?.. остановиться?.. А если это окажется поворотом к прошлому, сведением на нет всех завоеваний революции, полной реставрацией старого? Этого они боялись. Или вперед — или скат назад, безудержный, безостановочный. Третьего они не видели ничего. У них не было широты мысли Ленина. Они не вдумались еще как следует в его завещание — вернее не поняли его еще. И в них бродил еще проклятый яд марксизма!

Они вглядывались в русскую землю и с тревогой замечали: буря революции не так много еще в ней изменила.

Она снесла помещиков — но старые вехи и межи на полях остались. Национализация земли привела к тому, чего в свое время так опасался Плеханов — к полной возможности реставрации крупной земельной собственности. Крестьянин в новой земле, попавшей в его руки, не был уверен, не считал ее еще за собой закрепленной. К тому же фактически крестьянин получил от революции не так уж много земли — большая часть помещичьего владения осталась в руках государства, нового крупного земельного собственника — и это опять облегчало возможность реставрации.

Революция вымела старых владельцев фабрик, заводов, копей и пр. — но все это оставалось старым, в старых размерах, все это опять таки принадлежало государству, распоряжались им старые инженеры и прикащики, поставленные государством, и некоторые из них продолжали даже посылать за границу прежним хозяевам отчеты... И здесь была полная возможность реставрации.

Наконец: разве не говорил сам Ленин, что и государственной машиной революция не окончательно еще овладела, не вполне подчинила ее себе.

Везде, везде опасность контр-революции!

И еще: — и это было самое важное — очень мало сумела «завоевать» революция в душе среднего русского человека. В шуме, в напряжении гражданской войны казалось, что с революцией — так, как ее понимали большевики — большинство нации. На деле же оказалось, что нация была только против войны, потом против «бар», против непонявших ее генералов и «белых», против пришедшего поработать и грабить ее иностранца, против продававших ее этому иностранцу «демократов» и «буржуев». Но нация не была в глубине души и с большевиками. В душе своей она много хранила еще от старого, дореволюционной эпохой созданного человека. Дореволюционным был весь быт, большинство понятий, привычек. Новые поколения выращенные войной и революцией, еще не достаточно влияли на жизнь, на физиономию народа в целом. Словом: надо было создать нового человека, новую человеческую культуру — только тогда можно было бы сказать, что революция победила. Первые годы нэпа прошли в собирании сил, в заживлении, зализывании ран, нанесенных гражданской войной и общим развалом первых лет. Только тогда оказалось возможным приступить к органической работе по переделке лица страны.

Все это видели и Сталин, и Молотов, и Андреев — может быть, даже многое невольно преувеличивали. И твердо говорили себе: нет, никаких остановок, никакого промедления на избранном пути. И потому, когда движение вперед по пути полного переустрой-

ства страны на мирном пути оказалось для них невозможным, они сказали себе: мы все-таки пойдем вперед. Отмахивали все сомнения, махали рукой на неприглядную действительность, закрывали глаза на лившуюся кровь, старались не слышать стонов и проклятий, сжимали зубы — и все крепче впрягались в плуг своей страшной власти, еще глубже врезали его в русскую землю, чтобы уничтожить скорее все старые межи и вехи, скорее засеять новые семена. Плуг резал, кромсал, переворачивал землю, перерезал ее кровеносные сосуды — шел дальше. Вперед. И только вперед.

Андреев был назначен секретарем юго-восточного бюро центрального комитета партии, т. е. генерал-губернатором Северного Кавказа. В то время, как его друг, Молотов, с фактами и цифрами в руках горячо доказывал на съезде партии необходимость самой быстрой коллективизации крестьянских хозяйств — Андреев практически ее осуществлял. В скором времени он добился того, что его край — богатейшая житница России — был коллективизирован почти на сто процентов. Но чего это стоило! Казачество — основа богатства края, но вместе с тем и самая крепкая опора частной собственности — было разорено. Многих пришлось выслатить, посадить в тюрьмы, даже расстрелять. Но Андреев твердо верил: цель оправдывает средство! Пусть погибнет миллион людей, два, три — но пусть будут счастливы сотни миллионов!

Первый доклад Андреева вызвал бурный восторг в центральном комитете партии. Вот она, победа социализма! По предложению Сталина доклад был отпечатан и разослан всем партийным комитетам России: учитесь! вот пример, достойный подражания! Авто-

ритет Андреева стал так высоко, что его ввели в состав политбюро, и зашла речь о назначении его председателем совета народных комиссаров на смену ставшему помехой Рыкову.

Вся правительственная Россия пошла по стопам Андреева: коллективизация во что бы то ни стало. По всей народной России стоял стон. Один за другим шли к северу так называемые «поезда смерти»: ряды опечатанных товарных вагонов, в которых везли в ссылку — на верную смерть «кулаков», священников, учителей, деревенских коммунистов — всех, противившихся коллективизации.

Вспыхнули крестьянские восстания. Полстраны пришлось залить кровью. Заволновалась красная армия. Ворошилов в политбюро стукнул кулаком по столу и швырнул в лицо Сталину пачку писем, которые получали из дому красноармейцы: письма рассказывали об ужасах принудительной коллективизации. Он не отвечает за армию, — говорил Ворошилов. Сталин понял — надо отступить. Отступил по своему, по-азиатски. Основной инициатор коллективизации в том виде, как она проводилась, он свалил всю ответственность на Молотова и Андреева. Разве так он, Сталин, представлял себе коллективизацию? Разве так надо было ее проводить? — Меж Сталиным и Молотовым пробежала первая кошка. Молотов вскоре был передвинут на второстепенную работу: председателем Коминтерна. Это изолировало его от партийного аппарата, лишало опоры. Это было в 1929 г. Отошел в тень и Андреев. По партии было пущено крылатое словечко: «левые загибы». Это значило: Молотов и Андреев.

Но в 1930 г. коллективизацию пришлось продол-

жать. У Сталина не было иного пути. Или-или. Или уступить крестьянству — но тогда он сам при данных настроениях достаточно уже озлобленного крестьянства мог быть в конце концов выброшенным за борт, и тогда прости-прощай все его планы. Или итти напролом, попытаться сломить, уничтожить крестьянство, превратить его в сельско-хозяйственный пролетариат, обязать всеобщей государственной трудовой повинностью. Сталин пошел напролом.

На этот раз восстаний было меньше. Крестьянство начало понимать, что ему — разрозненному, распыленному на огромных пространствах, без всякой почти связи — не преодолеть с оружием в руках... да и оружие какое: старые ружья, да топоры и вилы!.. мощного аппарата власти, пока на его сторону не стала армия. Но армия только глухо волновалась, но молчала, связанная цепями жесткой дисциплины. Воевали с крестьянством войска ГПУ. — Крестьянство ударило по власти иначе: оно пошло в колхозы — и перенесло борьбу на экономический фронт*).

Земли возделывалось больше, чем прежде. Всюду работали новые машины. Государство затрачивало в землю все больше средств — тем больше должно было оно выколотить с нее обратно. Но оно стало получать с земли все меньше и меньше.

Крестьянин колхозник не только работал плохо,

*) Не надо забывать: сами по себе сельско-хозяйственные коллективы русскому крестьянству не страшны. Оно привыкло к ним, воспитанное на общине. Этим и объяснялся прежде успех с.х. кооперации у нас. Крестьянству страшны методы сталинского загона в колхоз — и сталинская коммунистическая его форма. Вообще пойти в колхоз крестьянин готов — если только ему гарантирована внутри известная хозяйственная свобода. Конечно — не каждый.

кое-как («Не для себя»). Не только прятал хлеб — в полном согласии зачастую с присланными из центра управителями и сельскими коммунистами. Но самое страшное для власти: он увеличил свое потребление. Никогда русская деревня не потребляла так много, как в 1930 г. Вырезали скот, перегоняли хлеб на вино. «Все равно отдавать придется — лучше сами съедим» — говорили крестьяне. И власть ничего не могла поделать.

Основная цель коллективизации была: увеличить количество хлеба, вообще сельскохозяйственных продуктов, поступающих в распоряжение власти. Ибо это — золото, которым оплачиваются за границей машины промышленной пятилетки. Заграничные заказы росли, росли суммы платежей — фонд деревенских продуктов в руках власти с коллективизацией сократился. Что делать? — Пришлось сократить снабжение продовольствием городского населения, уменьшить пайки армии, использовать ее неприкосновенный запас. И так как и после этого сельскохозяйственных продуктов для оплаты заграничных обязательств не хватало, то пришлось начать вывозить за границу и сбывать там по любой цене и все почти, что производила скудная советская промышленность из предметов широкого потребления. Городское население начало голодать. Не стало тканей, обуви, посуды, пуговиц, мыла, ниток, — всех необходимейших предметов. Рабочие стали работать хуже, начали убегать из промышленности. Так коллективизация сельского хозяйства которая должна была поднять промышленность, привела к кризису в ней. В особенно трудном положении оказались ведущие отрасли промышленности: топливо, транспорт, металл. Это, в свою очередь, еще больше

ударило по другим отраслям. Наконец, вносил в кризис свою долю — и немалую — и общесоветский бюрократизм, засоренность аппарата нечестными, нерботоспособными и неумелыми людьми. Средства, добывавшиеся государством с таким невероятным трудом, ценой почти гражданской войны в стране с большинством крестьянского населения, давали в руках советских чиновников значительно меньший, чем должны были, эффект. Много разворовывалось в заграничных торгпредствах. Много купленное лежало без толку, портилось, часто закупалось не то, что нужно, и втридорога. Новое строительство велось из рук вон плохо, нерасчетливо, бесхозяйственно. Эксплоатация фабрик и заводов была из рук вон плоха. Все возрастала и себестоимость продукции и количество брака. Бичем промышленности стало ударничество. От него стонали и ломались машины — стонала государственная казна.

Сталин начал лечить кризис репрессиями. Стал сажать в тюрьмы, время от времени расстреливать техническую интеллигенцию, рабочих, коммунистов-производственников, «кулаков», которых открывали в колхозах и т. д. Рабочих прикрепили к предприятиям. Крестьян стали насильно выгонять из колхозов, отправлять на рудники, на фабрики, на лесные заготовки. Этим самым уменьшали количество прожорливых ртов и избыточных рук в колхозах. Вместе с тем это давало надежду поднять работу промышленности если не качеством, то количеством рабочих рук. Внутри колхозов нормировали оплату труда, ввели сдельщину.

Репрессии не помогли. К концу 30 г. годовой план промышленности оказался невыполненным на 30%.

Но и из того, что по донесениям считалось произведенным, приходилось на негодность выбрасывать до 70% порой.

Но зато репрессии обострили недовольство населения. Общее недовольство проникло и в партию и в верхушку государственного аппарата. Из него родился «заговор» Сырцова.

Это был неслыханный в советской стране и весьма симптоматический случай: председатель совнаркома крупнейшей из союзных республик, Российской, член ЦК партии, недавний диктатор всей Сибири, фаворит Сталина, убежденный и твердый революционер, один из молодых героев гражданской войны; с ним целая группа ответственных работников партии и государства, — пришли к сознанию необходимости самых решительных мер для изменения политики власти, к которой сами они принадлежали, и в этих целях составили «заговор», в который вовлекли и некоторые военные круги. Сырцов был арестован, отставлен от всех должностей. Одновременно арестовали в Москве и в провинции ряд его единомышленников. Но, очевидно, за ними стояли большие силы. Круто расправиться с Сырцовым не решились. Он был отправлен в провинцию, под домашний арест. Там находится он и сейчас. Изредка ему разрешают посетить Москву. В Москве он всегда навещает Сталина — и тот охотно и подолгу совещается с ним.

Подробности этого «заговора», суть его, до сих пор неизвестны — даже людям власти в Москве, кроме самого Сталина, да его ближайшего окружения. О нем можно строить только догадки — сопоставляя слухи и факты.

Было ли это выступление против системы в целом?

— Очевидно, нет. Прочтите статьи Сырцова, которые потом — тоже с очень неясной и уклончивой формулировкой ставились в вину его «право-левацкому блоку»: в этих статьях он остается тем, чем был — преданнейшим сторонником системы идей Сталина. Он в общем не против сталинской «генеральной линии». В чем же дело? — В том, что красной нитью проходит через все сырцовские статьи и выступления: в системе управления, в плохом управлении государством, в невероятном бюрократизме советской государственной машины. А это говорит о том, что выступление Сырцова было первой ласточкой государственной оппозиции в стране. Оппозиции, суть которой не в идеологии, а в том, что практическая работа при данном руководстве и при данном построении государственных органов не идет и не может идти, — следовательно, нужно решительное выступление сознающих свою ответственность за судьбы страны государственников — для захвата руководства, для изменения строя управления. Вокруг этой — не идеологической, но чисто-практической платформы — и объединились и «правые» и «левые» (Ломинадзе) элементы государственно-партийной верхушки. Повидимому, ясной программы переустройства государства у них не было. Была очевидно мысль: сначала взять власть — потом будет видно.

Были слухи, что Сталин сам был как то замешан в этот «заговор», желая воспользоваться им для ряда коренных реформ. И что он лишь в последний момент испугался — и арестовал «заговорщиков». Что именно благодаря этому Молотов оказался — вопреки Сталину — председателем совнаркома с широкими полномочиями.

Мне думается, когда я сопоставляю сейчас некоторые известные мне факты с предположениями, что дело было не совсем так. Во всяком случае, Молотов пришел к посту предсовнаркома видимо потому, что этого пожелал Сталин. Мне думается, что «заговор» Сырцова был для Сталина сигналом предупреждающим о большой предстоящей опасности: о возможности в один прекрасный день более удачного *восстания* государственного аппарата против партийного. Сталину нужно было отдать государственный аппарат в твердые *партийные* руки. И он опять вернулся к самому большому и твердому из своих людей (характерно постоянное подчеркивание Троцкого: «Сталин и *его* Молотов»): ибо несмотря ни на что Молотов оставался «*его* Молотовым». И вот он призвал его к власти — и поставил на место давно намеченного к отставке Рыкова.

Андреев стал заместителем Молотова — и, что еще важнее, народным комиссаром рабоче-крестьянской инспекции и председателем ЦКК.

XXII.

Человеком иного типа, чем Молотов и Андреев, является Каганович.

Он не аскет. Материальные блага он ценит выше всего — и полной рукой берет все, что предлагает жизнь. Жизнь бывает один раз. И никто не знает, что будет завтра.

Ему тридцать восемь лет. От сидячей жизни, от

обильной еды он стал уже заплывать желтым жиром — но это только начало, не так еще страшно, он еще крепок, здоров, полон энергии. Его черные восточные глаза горят почти юношеским блеском. Волосы густые, блестящие, волнистые. Тщательно подстриженные бородка и усы прикрывают крепкий, полный, чувственный рот. Лицо грубоватое, плебейское, но правильное, гладкое, даже красивое. Он нравится себе самому — и любит фотографироваться, любит смотреться в зеркало. Есть на что посмотреть!

Костюм сидит, как облитой. Даже когда он, собираясь в рабочее собрание, переодевается в самое старое платье, в нем есть какая-то щеголеватость. Конечно: он не совсем картинка из заграничных журналов мужских мод (он получает их изредка с дипломатической почтой и предпочитает любому марксистскому сборнику). Но ведь и Москва не Лондон.

Многие говорят о нем:

— Это второе издание Троцкого.

Вы всматриваетесь — и не верите. В этом человеке нет ничего от хищной, но вместе с тем благородной, аристократической властности Троцкого.

Но внешность обманчива. И он действительно во многих отношениях второе издание Троцкого. Только издание сокращенное и вульгарное, сделанное в провинции, из грубого, серого материала. Разные условия воспитания и жизни дали разное выражение и неодинаковый вес этим двум представителям одного и того же человеческого типа.

Не надо забывать: Троцкий вырос в богатой семье. Его отец — Давид Бронштейн — был одним из тех арендаторов помещичьих имений, которые в конце прошлого века накинули сеть ростовщичества и эксплоа-

тации на всю южно-русскую степь от Днестра до Днепра. Давид Бронштейн, которого официальные биографы Троцкого скромно называют «сельскохозяйственным колонистом», был господином над тысячами десятин земли и над сотнями целиком зависевших от него людей. А рядом сидела многочисленная родня — и тоже прибирала к рукам земли, фабрики, торговлю, людей. Эта сплоченная семья была большой силой в крае. Ей было многое позволено. Когда сын одного их родственника и соседа, попав на военную службу, нагрубил офицеру и на его удар ответил ударом — ему ничего не сделали, несмотря на всю строгость военных законов того времени. Его богатый дед «поднял на ноги всю губернию и добился для своего внука признания невменяемости» *). Так и жил потом этот внук с паспортом сумасшедшего — жил неплохо. Когда от дурной пищи в имении Бронштейнов полуослепли сотни рабочих и это попало в газету — приехавший чиновник нашел все в порядке: «нормальный недостаток жиров; везде так». Когда обсчитанные стариком Бронштейном рабочие волновались, готовы были силой вырвать свои трудовые копейки, чтобы не возвращаться ни с чем к голодным семьям на скудный север, — как из под земли выросли полицейские, «преступников» избивали, зачинщиков увозили в город, в тюрьму. Все это видел мальчик Троцкий. Видел еще, как приниженно сгибались перед его отцом разоренные им помещики, прося новых денег или отсрочки платежей. Видел, как валялись в ногах отца седые мужики, как плакали женщины и дети, умоляя не отымать последнего, — и как все-таки с их дворов сгоняли

*) Троцкий. Моя жизнь. I. 48.

на продажу коров и лошадей, сгружали на казенные подводы жалкое имущество; люди шли по миру. Вот из этого опыта, откладываявшегося и перерабатывавшегося в наблюдательной и впечатлительной душе, и вынес Троцкий свою привычку к власти — и твердую уверенность, что от русского народа можно всего добиться силой кнута и жестокой экономической эксплуатации. Все это впоследствии легло в основу революционной деятельности Троцкого.

Еще. Троцкий никогда не нуждался в деньгах. Он получал поддержку из дому. Его перо блестящего памфлетиста ценила богатая буржуазная печать. Его умела ценить и международная социал-демократия и ее покровители, американские банкиры. Троцкий не должен был поэтому, как другие революционные эмигранты, меньшего калибра, без его денег и связей, подлаживаться под других, более крупных людей, менять взгляды, попросту продаваться за несколько лишних рублей из более богатой партийной кассы. Отсюда родилась независимость Троцкого. Отсюда его обычная роль: партии в партии.

Троцкий мог бы продолжать дело отца. Мог бы, уйдя за границу, стать там блестящим дельцом, ворочать, быть может, миллионами — ими определять судьбы людей, содержать правительства и парламенты, создавать и свержать их, разжигать и угащать войны и революции. Поступи он так — сегодня в его передней, быть может, толпились бы, ожидая подачек и приказаний, министры, его прикащики заседали бы в Лиге Наций, проповедуя мир и готовя войну — все, как он прикажет, — словом, он мог бы быть сегодня на месте одного из тех некоронованных владык мира, перед которыми простираются ниц все мишурные прави-

тели сегодняшней земли. Но Троцкому мало было той власти, какую дают деньги — только деньги. Его честолюбие было огромно, ненасытно: он хотел исторических дел и исторического имени. И потом: на него давила его принадлежность к еврейскому народу — и именно к той части его, которая жила в России и была там, несмотря ни на что, в условиях унижающего бесправия, ожесточающего угнетения. Происхождение Троцкого закрывало перед ним все двери к государственным постам и к политической власти. В старой России сын простого батрака, если только он был по происхождению русский, имел больше политических и гражданских прав, чем сын богатого Давида Бронштейна. Сознание этого исковеркало остро-впечатлительную душу Троцкого и породило в нем болезненное стремление к власти именно в России и над Россией. И потому, еслиб ему, интернационалисту и честолюбцу, предложили власть над всем миром, но без России — он отказался бы. Он и ненавидел и любил Россию — и хотел и отомстить ей и в корне ее переделать. Вот почему он стал русским революционером и марксистом.

Он мог бы, конечно, стать и либералом. Меньше было риску — и те же цели. Но Троцкий никогда не был человеком маленьких дел. Он всегда любил риск, большие ставки, игру ва-банк. Если разрушать — то разрушать без остатка. В марксизме, в рождаемых им революции и строе, он видел самое верное, даже единственное средство для разрушения национального государства и национальной культуры русских.

Он не стал и меньшевиком. Розовенькие социал-демократы были для него одной из разновидностей

интернационального либерализма: только что работали в другой среде, в рабочей. Но методы были одни: с точки зрения Троцкого — вегетарианство. И, как и либералы, русские меньшевики работали не за свой счет, но были просто-напросто агентами золотого интернационала. Они должны были, разрушив национальную Россию, передать ее в эксплуатацию своих хозяев-иностраных международных капиталистов —, сами мечтали только о роли платных прикащиков этих хозяев. Троцкий верил в свои силы, — и он хотел работать за свой и только за свой счет. До поры, до времени его путь шел часто вместе с золотым интернационалом: он мог принимать его помощь, оказывать ему те или иные услуги. Но его конечная цель была: через социальную революцию сломить хребет и золотому интернационалу, стать самому полным и неограниченным властелином — через революционную Россию всего революционизированного прочего мира. Троцкий подлинно противопоставлял в конечных своих планах золотому интернационалу красный. Вот почему он не стал и меньшевиком.

Жизнь пошла не так, как он о том мечтал. Революция, подготовленная черно-красно-золотым союзом меньшевиков, либералов и международного капитала, в России произошла. Но Россия не оказалась ни колонией иностранцев, ни колонией Троцкого. У власти стал Ленин. И Троцкий вынужден был идти с ним — если вообще хотел иметь какое то влияние на революцию. Первые месяцы после октября Троцкий ликовал. С садическим наслаждением наблюдал он процесс разрушения России. Всю страсть, всю силу своей энергии вложил в него. Он делал свое дело, когда организовывал красные полки против белых. Белые

— это была национальная Россия. Их надо было вешать, расстреливать, топить. Но дальше... С полей русской земли поднялись широкие народные пласты. Влились в партию, влились в новое государство, стали делать его народным и потому национальным. Интернациональная красная армия, детище и орудие Троцкого, стала также окрашиваться в национальные цвета. Все делали те же выходцы из народа, вытщенные Лениным, спаянные проклятым Сталиным... все эти Ворошиловы, Антиповы, Емшановы, Андреевы и пр. и пр. Сам Ленин, чем дальше, тем больше сходил с интернационалистского пути. Троцкий сначала попытался бороться с Лениным, подкапываться под него. Ничего не вышло. Стал рассчитывать на его смерть. Но смерть Ленина принесла победу Сталину и народным слоям — и полное поражение Троцкому. Ибо Ленин действовал и после смерти. Он не только оставил политическое завещание, являющееся, в сущности, наметкой программы русского национал-социализма, полным отречением от марксизма — он оставил и людей, которые стали это завещание осуществлять — пусть путаясь, пусть неумело, пусть с кровью и слезами для народа, но стали осуществлять, — и Россия пошла к национал-социалистическому пути... Как радовался Троцкий, когда первые годы революции дали возможность возвестить: «Национальная Россия умерла!»... И вот сейчас он слышит новые звуки, возвещаемые миллионами рожденных революцией людей: «Да здравствует национальная Россия!»... Для Троцкого — трагедия, тягостная, жестокая... Даже в рабочих Троцкий должен был разочароваться: русский рабочий оказался слишком тесно связанным с крестьянином — и тоже тяготел и тяготеет к идее национального

государства. Даже германский рабочий тяготеет к тому же — начинает пробуждаться, идет за Гитлером... Есть от чего смутиться неудавшемуся вождю мировой социальной революции!

Но надо быть справедливым. В борьбе Троцкого всегда был известный героизм. Он готов был на жертвы, на какие способен не всякий человек. Ставил все на карту огромной политической игры. Не шел на компромиссы, которые бы его унижали. Всегда оставался самим собой. Есть своеобразное величие и в его поражении. Оказавшись побежденным — он не предал ни идей своих, ни людей, которые за ним шли — людей, которые, надо сказать, в большинстве его предали.

Мало того. И сейчас, поверженный, разбитый, выброшенный за границу, лишенный русской почвы, которая ему так болезненно нужна, лишенный даже гражданства страны, которую он считал своей, он все еще не сдается, все еще лелеет горделивые планы и мечты. И ни от чего из идей и дел своих не отказался. Правда, по тактическим соображениям он прикрывает свое собственное лицо, перекрашивается в защитный цвет ненавистного ему ленинизма, даже группу свою называет не иначе, как: «большевики-ленинцы». Но это не столько мимикрия, сколько фальсификация. Троцкий знает: сейчас в России без Ленина и против Ленина выступить нельзя. Он берет имя Ленина. Но покрывает его идеи своими, под флагом ленинизма хочет протащить на русскую землю троцкизм. По существу же он попрежнему последовательный марксист. По-прежнему провозглашает интернациональную и перманентную революцию — до полного уничтожения национального лица народов. По-прежнему побор-

ник идеи чистого «рабочего» государства, все еще видя единственную опору себе в денационализированных слоях городского пролетариата. По-прежнему ненавидит и стремится уничтожить крестьянство — основу национальной жизни каждой страны.

Есть ли у него шансы на победу? — Нет. Но поборников его идей, скрытых его агентов, сознательных и бессознательных его орудий, в России до сих пор достаточно еще много. Костер революции еще не окончательно перегорел. Рядом с раскаленными углями лежит и неостывший шлак. Рядом с народными идеями — тлеют и огоньки марксизма. В числе проводников его идей одно из первых мест принадлежит Кагановичу.

XXIII.

Каганович родился в одном из городов западной России — в так называемой черте оседлости. Чтобы понять его последующую жизнь, надо представить себе, чем были еврейские кварталы западных городов.

Кругом расстилалась пышная природа. Города утопали в зелени садов, были залиты солнечным светом. Но в кварталах, где ютилась еврейская беднота — а беднотой были почти все там, — обычно не росло ни одного деревца, и даже солнце скупно отпускало свои лучи в их узкие улицы. Можно было, право, подумать, что природа объединилась здесь с людьми, чтобы создать самое резкое бесправие, самую жуткую обделенность для сынов этого вечно и везде гонимого народа,

заброшенных судьбой в далекую и чуждую Россию и там зажатых средь ее огромных пространств в узкой полосе черты оседлости. Здесь много было сильных и упорных характеров. Но не было применения кипучей энергии... Те из них, кому, как Давиду Бронштейну и его семье, удавалось выйти из этой жизни, переместиться в иные условия, на больший простор, — те вырастали, становились людьми с большими возможностями и с большим размахом. Те, кто оставался здесь — буквально варились в собственном соку, поедали друг друга, задыхались. И чем труднее было им, чем больше приходилось напрягаться и изворачиваться, чтобы как-то продержаться и пробиться в жизни — тем большую враждебность, даже злобу, даже ненависть встречали они в других слоях населения, особенно крестьянского. На каждом шагу вымещали на них эту злобу — и каждый старался подчеркнуть их зависимость и бесправие.

Улицы не только были узкие, кривые, темные — на них никогда не просыхала жидкая, липкая и вонючая грязь: из окон выливали помои, выбрасывали отбросы, тут же на веревках сушили белье, из попадавшихся на каждом шагу, в каждой подворотне съестных лавченок постоянно стекал огуречный и селедочный рассол. В воздухе стоял крик, висела брань. Летом реяли мириады толстых мух. Толпами кружились полуодетые дети.

В домах жили тесно, как клопы, человек на человеке. Часто одна семья имела одну всего комнату. В ней работали, ели, спали. Иногда только у отца с матерью была постель. Остальные — старая бабушка какаянибудь, тети, братья, сестры, все спали на полу, на разном тряпье, на сенных матрацах. Иногда брали

еще и жильцов — и им выкраивали место. Утром тряпки убирались в угол, одни расходились, в лавченку, в мастерские, просто на улицу, — другие оставались, и комната преображалась в мастерскую; за занавеской начиналась чадная стряпня на керосинке.

Вот под впечатлениями данной обстановки и среды вырос Лазарь Каганович.

Его отец был маленький ремесленник. Сын с детства помогал ему — и рано привык бегать за заказчиком, сгибаться перед ним, выполнять всякое его желание, угождать на любой вкус. Если желание заказчика было невыполнимо, шло в разрез с собственными вкусами и навыками — об этом нельзя было говорить открыто, нельзя было спорить. Надо было наружно соглашаться, а потом хитрить, — тайком, обманом действовать по своему.

Потом Каганович поступил на кожевенную фабрику — но навыки маленького провинциального ремесленника остались у него на всю жизнь, и их он перенес потом и в свою политическую карьеру. У него не было и не могло быть независимости и властности Троцкого. Он сгибался перед всяким сильным человеком. Своей политической линии старался не иметь — всегда выполнял политические заказы другого.

Это не значит, что он не имел своих идей. Имел. Неглубокие, небольшие, потому что не было у него образования, не было знаний, не было привычки самостоятельно мыслить. По настроениям своим он был близок Троцкому. И он вошел в революционную партию — еще в 1913 г. — из ненависти не только к старому русскому строю, но и к русской нации, принижавшей, третировавшей его, как пария. И идеи себе он усвоил примерно те же, что Троцкий. Но для Троц-

кого идеи решали. Для Кагановича же решающим были более примитивные побуждения. Он слишком долго и много голодал, чтобы не ценить в первую очередь те материальные блага, какие дает жизнь. Ради этих благ он готов был на любые компромиссы. И еще. Троцкого болезненно влекла в Россию прежде всего жажда власти над ней. Жить же он мог везде, был по сути гражданином всего мира. Каганович за границы не знал и в ней не мыслил своей жизни. Он был привязан к России, привязан к ней и сейчас, как каторжник к своей цепи, как собака к своему дому. Его будут пинать, толкать — но оторваться он не может, идти ему некуда. Он стерпит все.

Отсюда то и получилось то парадоксальное и фальшивое положение, в каком он оказался. Его настоящее место было в рядах приверженцев Троцкого. Он же оказался среди противников своего героя — в рядах людей, которые своими действиями мало-по-малу и в революции утверждали ненавистную ему русскую национальную идею.

Но эти люди дали ему власть. Дали все, что давала власть. Эти люди были сильны — и необманиваемый инстинкт говорил ему, что они, а не Троцкий, будут победителями. Он пошел с ними — стал их послушным орудием. Но так как идей своих и настроений в себе он не мог все-таки заглушить, то стал протаскивать их в жизнь под сурдинку, контрабандой. И стал тем самым постепенно вторым изданием Троцкого, его маленьким наследником, проводником его идей, покровителем его людей в новой обстановке. Так же, как и Троцкий последнее время прикрывался именем Ленина и этикеткой ленинизма, так прикрывался Каганович именем Сталина и наклейкой: сталинизм.

В революцию Каганович вошел двадцати четырех лет. Большой роли вначале не играл. Был председателем Гомельского совета рабочих депутатов. Работал потом в других провинциальных городах. Некоторое время специализировался по продовольственному делу. Это было важно тогда. Это обратило на него внимание. Он стал появляться на партийных совещаниях и съездах. Там тоже обратил на себя внимание четкостью, деловитостью своих речей, а, главное, тем изумительным нюхом, с которым он определял каждый раз направление политического ветра.

Молотов, подбирая дельных и работоспособных людей для центрального партийного аппарата, перетянул туда и Кагановича. Уже в 24 г. Каганович стал третьим секретарем ЦК. Приглядевшись, высоко оценил его и Сталин.

Особенно сблизился Каганович со Сталиным во время борьбы с правой оппозицией. Каганович отдал этой борьбе все свои силы, проявил себя мастером закулисных интриг, оказал неоценимые услуги Сталину. Надо заметить, что Молотов в борьбе с правыми был гораздо более пассивен.

Опорой «правых» были профессиональные союзы. Весь вершущий их аппарат был целиком в их руках. Это давало им непосредственную связь с рабочей средой — и известную опору и в ней. Сталин всадил Кагановича в президиум ВЦСПС — и тот «перетряской аппарата», т. е. смещением одних, подбором других людей, добился вскоре того, что приверженцы «правых» оказались там в меньшинстве. На разгроме профсоюзов Каганович показал, что он не брезгает ничем, умеет пользоваться всеми средствами. Посланный секретарем украинской партии в Харьков, Кага-

нович сумел привести в повиновение и тамошние «опозиции», тоже потрянул аппаратом, сломил шею назревавшему украинскому сепаратизму в коммунистических рядах.

После перехода Молотова в совнаркоме Каганович стал ближайшим помощником Сталина по партийному аппарату. Одновременно он — секретарь московской организации партии, т. е. самой крупной и влиятельной в советской стране. Он держит эту организацию в руках через многочисленных своих протеже и родственников. Родственники, между прочим, его слабость: всюду, где только он ни появляется, появляется и садится на сытные места и его бесчисленная родня. В Москве ближайшее окружение Кагановича иначе не называют, как: «семья Кагановича». Это тоже роднит его с Троцким.

Одно время в Москве упорно говорили о том, что в Кагановиче Сталин готовит себе преемника. Но сейчас по многим причинам положение Кагановича стало несколько шататься. В аппарате центрального комитета партии Сталин выдвигает сейчас новую силу, Постышева. Последнего он противопоставляет сейчас Молотову. Каганович для борьбы с Молотовым оказался слишком слаб.

XXIV.

Основными, главнейшими подсобными органами ЦК партии являются Объединенное Государственное Политическое Управление (ОГПУ, или, как упрощеннее говорит советский обыватель — ГПУ), — поли-

тическая полиция советской страны, — и Центральная Контрольная комиссия партии (ЦКК), объединенная с Народным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспекции.

ГПУ... Это сочетание трех букв наводит смертельный страх на любого советского обывателя. Для него эти три буквы — символ всего самого страшного, что только может встретиться в жизни. Это какое то тысячеголовое и тысячерукое чудовище из старых сказок, которое сторожит за каждым углом, неотступно следует за каждым шагом, от которого нет спасения, от которого нельзя ждать пощады. В переводе на язык реальной жизни, ГПУ — это возможность ареста в любой момент, инквизиторский допрос — иногда с пыткой, когда человек со всем соглашается, во всем сознается, даже в том, чего не было, всех, вплоть до самых близких, оговаривает; тюрьма, переполненная до отказа, или еще более страшная камера гробового молчания; раззорение; безработица и голод семьи; ссылка; принудительные работы на севере, равносильные медленной смерти; наконец... холодное дуло револьвера у затылка, короткий удар, конец.

Не только советский обыватель — само правительство боится ГПУ. Без ГПУ нельзя обойтись — это основная материальная опора нынешней власти. И вместе с тем нигде не гнездится столько опасностей, столько возможностей измены и предательства, как в ГПУ.

ГПУ прежде всего знает все. В каждом учреждении, помимо людей, официально представляющих там ГПУ, оно имеет среди сотрудников громадную сеть секретных осведомителей. При всех почтовых конторах страны имеются «черные кабинеты» — и каждое письмо перлюстрируется, с наиболее важных снимаются ко-

пии, иногда фотографии. Для прибывающей из-за границы дипломатической почты имеется «черный кабинет» при Наркоминделе — и никто, даже сам нарком, не увидит почты, пока все письма, официальные и частные, не будут прочтены агентами ГПУ. Секретная переписка учреждений и должностных лиц — а секретными являются все важнейшие дела — должна храниться в особом «секретном отделе», имеющемся при всяком наркомате. На день секретные бумаги выдаются по отделам учреждения для обработки, на ночь они запираются в шкафы секретного отдела. Никому не разрешается, кроме самых исключительных лиц и случаев, оставлять секретные бумаги на ночь у себя. Сотрудники секретного отдела — это сотрудники ГПУ. Они получают жалованье по спискам данного учреждения, но назначаются, смещаются, перемещаются только распоряжениями «специального отдела» ГПУ, во главе которого стоит доверенный человек Сталина, Бокий. Все они предварительно проходят специальные курсы при ГПУ, на которых их обучают обхождению с секретной перепиской, искусству шифровать и т. д. Таким образом ГПУ не только знает все, что творится в учреждениях страны, но у него же фактически хранятся и все серьезнейшие государственные документы. Мало того. ГПУ имеет вторые ключи от всех комнат, столов, шкафов советских учреждений. Если учреждение заказывает себе несгораемый шкаф — дубликат ключей немедленно передается ГПУ. И это вовсе не надо делать самому учреждению — все фабрики несгораемых шкафов, печатей, штампов и пр. в России принадлежат ГПУ. Если несгораемый шкаф заказывается заграницей — заказ передается при участии представителей ГПУ, они же

принимают шкаф и ключи. Охрана всех учреждений тоже в руках ГПУ. Поэтому ГПУ без всякого шума имеет возможность время от времени по ночам проверять, что именно лежит в комнатах, столах, шкафах, сейфах должностных лиц.

Как то в Москве, в кругу ответственных коммунистов, зашла речь, сколько ГПУ имеет секретных сотрудников по всей стране. Полушутя, полусерьезно мы пришли к выводу: несколько миллионов.

Я не думаю, чтобы этот подсчет сильно уклонялся от действительности. ГПУ имеет свои глаза и уши в каждой почти семье русских городов. В деревнях агентура, конечно, не так многочисленна, но тоже есть.

Но как можно содержать такую чудовищную сеть агентов? Какой государственный бюджет позволяет это? — ГПУ вообще стоит государству огромных денег. Но сеть секретных агентов не стоит государству почти ничего. Они вербуются и держатся в руках страхом.

Человека арестовывают. Пусть он ни в чем неповинен. ГПУ всегда может найти преступления за кем угодно. Для доказательства вовсе не требуются документы. Достаточно агентурной справки: наш секретный сотрудник X сообщает . . . Пусть такого секретного сотрудника нет даже вообще в природе. Пусть эта бумажка с начала и до конца сфабрикована в канцелярии ГПУ. Она достаточный документ, чтобы отправить человека не только в ссылку, но и на тот свет. Ведь независимого суда нет. Тот, что есть — это опять таки собрание чиновников, которые слепо повинуются велениям партийных органов, следовательно, и орудию партии, ГПУ. ГПУ имеет почти неограниченные полно-

мочия. Для расстрела обыкновенного человека, нужно только постановление коллегии ГПУ.

Арестованному предлагают: или вы становитесь нашим секретным сотрудником, или . . . Последнее «или» может означать все, что угодно. И ясно, что гражданин Иванов или Кац становится «сексотом». Ему дают «явку» — адрес одной из многочисленных конспиративных квартир ГПУ, называют лицо, с которым он будет там встречаться. В определенные дни он идет туда, сообщает все, что видел, слышал, получает задания. Правдивость его сообщений проверяется другими «сексотами», которых он не знает — может быть, собственной женой, отцом, дочерью, братом. Горе ему, если он солжет, утаит что либо, или кому либо расскажет о своем сотрудничестве с ГПУ. Тогда он уж наверняка исчезнет — и больше не вернется никогда. Деньги? — Ему ничего не платят. Разве только, если ему поручено специальное «дело», связанное с расходами. Это бывает чаще всего с иностранцами. И тогда ГПУ не стесняется в средствах.

Большие услуги оказывает ГПУ преступный мир. Уголовная полиция тоже подчинена ГПУ. Вся верхушка ее комплектуется из людей ГПУ. В Москве помощник начальника уголовного розыска официально представляет ГПУ — все свои задания получает оттуда, там же регулярно отчитывается. Все это дает ГПУ прекрасное знание преступного мира и тесную связь с ним. И так как уголовное преступление в советской стране рассматривается, как сущий пустяк, в сравнении с политическими, то ГПУ часто смотрит сквозь пальцы на подвиги воров и убийц — но зато всегда имеет их в распоряжении для своих надобностей. И они служат ГПУ верно: преступный мир имеет свою

своеобразную и очень твердую этику. Сплошь да рядом для того, чтобы в частной квартире достать тот или иной документ, либо подбросить туда незаметно что-либо компрометирующее, ГПУ прибегает к услугам квалифицированных взломщиков. Обычно так производятся «налеты» на иностранные миссии. Часто об этом осведомлен и Наркоминдел, во всяком случае, отдельные его ответственные, тесно с ГПУ связанные сотрудники. Иногда их даже просят помочь «операции» — напр., пригласить на этот вечер весь состав иностранной миссии в театр или к обеду. К услугам преступного мира прибегают и тогда, когда нужно без большого шума кого либо «устранить»: его убивают «с целью грабежа» бандиты. Так был убит один из крупных деятелей Коминтерна, бывший замторгпред СССР в Германии, работавший там под псевдонимом Туров.

Труднее иметь осведомителей в среде ответственных партийных работников, в самой правительственной среде. Там запугать людей труднее. Там можно нарваться на скандал, который дорого будет стоить чиновникам ГПУ. Но и там устраиваются, ибо ГПУ должно знать все, что делают и даже думают члены правительства — и для докладов ЦК партии, диктатору Сталину, да и для того, чтобы самому знать, куда дует сейчас ветер.

Для чисто внешнего наблюдения в правительственных кругах используется прислуга. От нее узнают: кто был у такого то, что делали, сколько времени были вместе. Прислуга подслушивает и у дверей, подбирает разорванные бумаги. Помогают перехваченные письма. Сплетни жен. Но главное, «внутреннее» наблюдение — за душой, за мыслями — производится через друзей и любимых женщин. Как ни замкнуты люди крем-

левской верхушки, как ни научены они осторожности своей каторжной жизнью, все почти они, за немногими исключениями, имеют слабости, имеют связи на стороне, вне Кремля. Друзья детства, товарищи по прежней работе — и, главным образом, женщины. Я говорил уже об использовании ГПУ женского персонала театров. Но и помимо артисток, у ГПУ в распоряжении целый корпус девушек и женщин разных типов. Много — прекрасного происхождения, носительниц прежних аристократических и крупно-буржуазных имен. ГПУ устраивает им квартиры в своих домах, снабжает их всем необходимым — от мебели и посуды до шелкового белья, платьев и мехов — и использует их для осведомительной службы при иностранцах и собственных сановниках. Их использование организовано мастерски. В ГПУ прекрасные психологи. Они внимательно изучают свою женскую армию, тонко определяют особенности каждого в ней воина, физические и моральные, особенно последние, — не менее тонко определяют и наклонности тех, кого надо «обработать», опять таки не только грубо-физиологические, но и тончайшие внутренние, духовные запросы: кого тянет к натуре поэтической, музыкальной, кому нужна властность, кому ангельская чистота и искренность, кому семейная добродетель и т. д. Между прочим, в агентуре по широкому наблюдению за городским обывателем России у ГПУ целая армия проституток — и можно смело сказать, что не только трудная советская жизнь сама по себе, но в значительной мере и потребности ГПУ поддерживают и развивают проституцию в советской России. Пожалуй никогда не было там такой широкой продажности женщины, как сейчас — и такого циничного к ней отношения.

Всеведение ГПУ делает его страшным орудием в руках власти. Имея в руках государственные и частные секреты, собираемые и хранимые ГПУ, можно безнадежно скомпрометировать любого противника, погубить, либо сделать своим рабом любого врага. Глазами и ушами ГПУ следить за каждым его шагом — и все предупреждать.

Но в то же время, всеведение ГПУ величайшая опасность. Что, если хоть часть этого чудовищного аппарата сыска и предательства окажется в руках врагов, новых претендентов на власть?

Не надо забывать: работа ГПУ протекает главным образом в подпольи, в потемках конспирации. В потемках возможны самые неожиданные дела. Не раз бывало, что ГПУ, чтобы усилить свой авторитет, лишний раз доказать свою необходимость и умение работать, само устраивало заговоры, восстания, убийства. Правительство иногда догадывалось об этом, но всегда вынуждено было закрывать глаза. Ибо доказать, проследить что либо в работе ГПУ, обычно, невозможно. Часто даже сами руководители ГПУ не знают, что делает в потемках своей работы их аппарат.

ГПУ играет громадную роль и во внешней политике государства. В политбюро к голосу ГПУ прислушиваются гораздо сильнее, чем к голосу Наркоминдела. Да это и понятно. Ведь в конце концов основную, подлинную дипломатическую работу делает заграницей ГПУ. Советские послы заграницей — это просто канцелярские чиновники, декоративные куклы, задача которых — поддержание внешних связей, официальные,

обычно ничего не стоящие разговоры, а, главное, маскировка настоящей работы. Но настоящая работа — в подпольи — ведется ГПУ. Его агенты, располагающие часто весьма внушительными денежными средствами, проникают под разными масками во все слои западного общества. И их влияние там и собираемая ими информация о делах Запада огромны. В то же время, ГПУ знает о каждом шаге и официальных представителей советской власти за границей, использует и их маленькую информацию. В каждой миссии советов за границей, замаскированный обычно какойнибудь второстепенной дипломатической должностью — атташе, второго или третьего секретаря — сидит агент ГПУ. Он следит за всем, что делает миссия. Читает все секретные донесения посла, все шифрованные депеши, даже частные письма. Секретная переписка миссий хранится у сотрудника специального отдела ГПУ, являющегося одновременно и шифровальщиком. Он подчинен представителю ГПУ — и все ему докладывает. Секретные делопроизводители и машинистки полпредства и торгпредства тоже вербуются из агентов ГПУ — и тоже подотчетны и слепо послушны представителю ГПУ — «резиденту», как их называют. Словом: советский посол ничего не может скрыть от представителя ГПУ, в то время, как последний почти ничего ему о своей работе не сообщает. Вот почему, приходя в заседание политбюро, руководители ГПУ прекрасно знают, с каким материалом придут туда представители Наркоминдела. Зато последние никогда не знают, какую новость принесут представители ГПУ. И в спорах часто поэтому побеждают последние.

Но влияние ГПУ на иностранную политику не ограничивается воздействием их информации на реше-

ния политбюро. ГПУ и за границей работает в потемках. И потому и там оно может делать на свой страх и риск — часто и делает — вещи, о которых не знает не только официальный посол, — это его естественный удел ничего не знать, — но и само московское правительство. Так, например, взрыв варшавского арсенала и ряд террористических актов, организованных в свое время представителем ГПУ Логановским, были сделаны без ведома Кремля, и пошли в тот момент в разрез с его политикой. Логановского хотели даже расстрелять, но у ГПУ есть своя этика, своя круговая порука, — за него вступился тогдашний помощник Дзержинского, Уншлихт, и затушил скандал. Логановский после этого благополучно переехал из Варшавы в Вену, там продолжал плести сеть интриг, заговоров и убийств на Балканах, потом был некоторое время помощником заведующего иностранным отделом ГПУ, затем перешел в Наркоминдел, долго ведал отделом Прибалтики и Польши, был даже назначен послом в Финляндию — и только случайность помешала; он поехал советником в Тегеран.

ГПУ настолько сильно за границей, что при желании может легко спровоцировать там, что угодно — вплоть до войны — и поставить кремлевское правительство перед фактом. В этом еще одна опасность силы страшного аппарата ГПУ.

Наконец, в распоряжении ГПУ находятся те штыки, на которые опирается советская власть внутри страны. Это внутренняя полицейская армия, численностью в несколько сот тысяч штыков, прекрасно снаряженная, вооруженная по последнему слову военной техники. Задача ее — помимо охраны правительственных зданий, железных дорог, промышленных предприятий,

границы — борьба с внутренними врагами: подавление восстаний крестьян и рабочих. Но разве не мыслимо такое положение, что какие-то части этих привыкших к участию в политической борьбе преторианцев, по приказу из ГПУ, могут отдать свои штыки какому либо новому претенденту на власть — и произвести дворцовый переворот? Конечно, мыслимо.

По всем этим причинам вопрос: как и через кого управлять аппаратом ГПУ, является одним из важнейших для кремлевского правительства. Еще при Ленине ГПУ было подчинено в целом непосредственно главе государства — и фактически и формально. Тогда нынешнее ГПУ называлось ВЧК (всероссийская комиссия по борьбе с контр-революцией, спекуляцией, саботажем) — и это не был отдельный наркомат, несмотря на всю огромность своей организации, но комиссия при совнаркоме, т. е. при председателе совнаркома Ленине. Прямая связь ВЧК с Лениным несколько затушевывалась во вне, чтобы не слишком связывать и марать имя Ленина кровью, налипшей на этом учреждении. Но связь была — и была неизбежна. Помимо того, послушание ВЧК Ленину обеспечивалось тем, что во главе ее стоял Дзержинский, фанатичный, но честный, лишенный личного честолюбия, идейный, безусловно преданный Ленину человек. Ленин верил ему, во всем на него полагался. А Дзержинский умел держать в руках свой страшный аппарат. После смерти Ленина Дзержинский столь же слепо стал служить и повиноваться Сталину. С его смертью положение изменилось. Второго Дзержинского нет — другого же типа сильный человек сам легко сможет захватить власть в стране, если дать ему в руки аппарат ГПУ и позволить в нем укрепиться. Сталин взял управление

ГПУ непосредственно в свои руки. Сейчас ГПУ подчинено — не формально, но фактически — центральному комитету партии, а в нем — аппарату Сталина. По делам ГПУ при политбюро имеется специальная комиссия. По ряду дел (политических) ГПУ лишено теперь права самостоятельно расстреливать и высылать людей — требуется распоряжение политбюро, Сталина.

Во главе ГПУ стараются не иметь сильных и с политическим авторитетом людей. Техники полицейского дела, сильные, но слепые исполнители — вот кем должны быть люди ГПУ. Но ни в коем случае не политические фигуры. Чуть кто из людей ГПУ начинает приобретать политический вес в стране, становится более-менее самостоятельной величиной — его снимают.

Но и техники полицейского дела могут оказаться запутанными в политическую интригу. Недостаточно крупные для самостоятельной роли, они могут оказаться орудиями в руках других. Чтобы предотвратить это — личный состав ГПУ взят под самое суровое наблюдение со стороны партийных органов — и в частности партийного ГПУ, ЦКК. Там с особой тщательностью следят за жизнью, работой, связями людей ГПУ. Внутри аппарата ГПУ идет постоянная слежка со стороны одних частей, одних людей его за другими. Чуть появится что либо подозрительное — людей снимают, иногда уничтожают. Так был расстрелян за обнаруженную связь с Троцким один из способнейших заграничных агентов ГПУ, убийца графа Мирбаха, Блюмкин.

Самый аппарат ГПУ перестроен сейчас так, что ни один человек внутри этого учреждения не может сосредоточить в своих руках власть над ним в целом.

Некоторые, наиболее важные части ГПУ, находятся в непосредственном деловом ведении Сталина. Ими управляют безусловно преданные ему люди — и сносятся с ним по всем делам, минуя свое непосредственное начальство. Это, во первых, специальный отдел ГПУ — хранитель всех государственных тайн. Во вторых — войска ГПУ. Ни один оперативный приказ по этим войскам не имеет силы без подтверждения со стороны Сталина.

XXVI.

Центральная контрольная комиссия партии помещается в нескольких шагах от ЦК, на Ильинке. Такой же многоэтажный конторского типа дом, только более мрачный и более безжизненный с виду.

Одновременно это народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции. Председатель ЦКК — нарком, президиум ЦКК — коллегия наркомата. Это первое в советской практике полное слияние партийного учреждения с советским.

Это орган создан во исполнение предсмертной воли Ленина. Ленин придавал ему огромное значение. Интересно и важно подробнее остановиться на истории его возникновения. Это приоткроет перед нами одну из важнейших страниц политического завещания Ленина — вместе с тем это многое пояснит в нынешней советской действительности.

Перед смертью, в промежутке меж первым приступом болезни и развязкой, Ленин много думал о го-

сударстве, созданном им. И пришел к выводу, что государственная машина советской страны никуда не годится, что ее надо в корне перестроить.

Революция разрушила старый государственный аппарат. Но мечты о возможности обойтись без чиновников, без полиции, без постоянной армии оказались утопией. Все это пришлось создать заново — и создать по старым образцам и зачастую и из старого материала. И в результате вот что пришлось констатировать Ленину в 23 году, через пять лет революции: «Наш госаппарат.. в наибольшей степени представляет из себя пережиток старого, в наименьшей степени подвергнутого сколько-нибудь серьезным изменениям. Он только слегка подкрашен сверху, а в остальных отношениях является самым типичным старым из нашего старого госаппарата» (Собр. соч. Изд. 1925 г. XXVII. ч. 11. 112).

Таким оказался государственный аппарат революции не потому, что в нем преобладали старые чиновники. Как раз этого преобладания не было*). Как известно, русская служилая интеллигенция в подавляющем большинстве резко враждебно отнеслась к октябрьскому перевороту. Начался саботаж новой власти, служащие стали массами уходить из государственных учреждений. В дальнейшем многие из них ушли в белый лагерь, с ним — в эми-

*) В конце 1927 г. председатель союза совторгслужащих Фигатнер сообщал: «Количество служащих, работающих в аппарате, объединяемом союзом совторгслужащих, равняется 963 тыс. Какое количество имеется среди них старых чиновников, которые работали... в царском государственном аппарате? Их процент по всему союзу... равен 4,2» (XV съезд партии. Стенограф. отчет. 468). Это было через 10 лет революции. При Ленине старых чиновников было несколько больше.

грацию. И уходили, как правило, наилучшие, наиболее культурные, честные, независимые элементы. От этого новый государственный аппарат много потерял. Ведь кем были заполнены образовавшиеся в государственном аппарате огромные бреши? — Преимущественно разными проходимцами, которым до тех пор был закрыт доступ на государственную службу, и которые жадно стремились к ней. Разные «люди вольных профессий», разные врачи, dentисты, фармацевты, коммиссионеры, прикащики, родственники революционных «вождей» и их окружения, родственники их родственников, друзья, знакомые, любовницы и пр. и пр. — все это широким потоком хлынуло в государственный аппарат. Принимали в первое время всех без разбора. Причем все эти люди, как правило, стремились не на местную работу, не на фронты, не в деревню, где было и тяжело и небезопасно, но на работу в центральных учреждениях. Все они, конечно, понятия не имели о технике государственной работы. Общий их культурный уровень был тоже невысок. Их менторами оказались остатки старого аппарата — а остались по преимуществу наиболее слабые его элементы, типичные чиновники, «люди 20 числа», люди принципа «чего изволите», те, кто и создал все темные стороны старого бюрократизма. Чего же удивляться, что под их влиянием революционный аппарат и оказался «самым типичным старым из нашего старого госаппарата», взявшим от старого по преимуществу только его отрицательные черты, но не воспринявшим почти ничего из того положительного, что имел аппарат императорского режима. Самого главного не восприняли новые чиновники — того взгляда на государственную службу, как на высокий,

обязывающий, и требующий жертвенности долг, который отличал и ставил выше окружающей бюрократической массы высококультурного, европейски-образованного и вместе с тем глубоко-русского лучшего чиновника императорского периода. Впрочем, новые люди государственного аппарата в своем подавляющем большинстве и не могли по природе своей этот взгляд воспринять. Ибо эта орда проходимцев смотрела на государственную службу только, как на средство получить удобную и спокойную жизнь, чины, почести. Ничто не было им близко, дорого — ни страна, ни народ. Их не волновали никакие идеи, хотя они и кричали о них, а многие даже записались в коммунистическую партию. И поэтому именно они представляли собой наибольшую контр-революционную опасность в аппарате. Ибо старый чиновник — человек служилых традиций, вырабатывавшихся поколениями, входивших в кровь — если он начинал служить, то служил верно. На измену он не был способен. И не раз бывали случаи, когда люди императорского периода, воспитанные в его традициях, особенно военные, умирали за революцию, им пока органически чуждую. В дальнейшем, пронизавшись ее идеями, осознав, что только в революционной государственности в данную эпоху — прогресс для страны и народа, они могли начать и убежденно этой государственности служить. Но большая часть нового чиновничества, даже с партийным билетом в кармане, всегда была готова продать революцию и ее государственность первому встречному, лишь бы он гарантировал им и в дальнейшем государственную службу, чины, выгоды. Это были типичные ловцы собственного счастья в воде революции — люди того типа, что правили советами в эпоху Керенского,

проникали при нем уже в министерства. По внутренним своим убеждениям эти люди были даже более контр-революционны, чем государственные чиновники императорского периода, ибо в глубине души они мечтали о «демократии», об олигархии себе подобных, о реставрации не народной империи, но буржуазно-демократического государства.

А где же были подлинные люди революции, народные самородки? — В первые годы революции цвет партии, цвет рабочих и революционного крестьянства был на фронтах, в провинции, в деревнях, на завоевании власти, на постройке «власти на местах» на борьбе с душившим республику голодом. Революционные парламенты того времени, советы, особенно местные, ничего общего с бюрократическим центральным аппаратом не имели. Вот эти люди создали армию, победили на фронтах, вытащили страну из голода, начали налаживать ее индустрию, ее местное управление. Но в центральные учреждения государства, когда они вернулись с фронтов, им доступ оказался вначале закрытым. Там сидела плотная, перевитая родственными и дружескими связями, каста «революционного» чиновничества. Подлинные революционеры, настоящие представители партии были только на верхушке, влияя на аппараты оттуда. Но и из них многие были в свою очередь уже разложены влиянием своего аппарата.

Самым революционным организмом страны была армия. В ней было больше всего народных людей революции. Но и в ней — тоже в центре, тоже на верхушке, вокруг Троцкого — группировались и жестко давили на народные силы армии те же люди новой чиновничьей касты, что сидели и в прочих государственных учреждениях. Благодаря этому и армия не

была вполне освоена революцией, нуждалась в переделке.

Перестройку государственной машины Ленин решил повести через аппарат народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции (Рабкрин).

Этот наркомат, задачей которого являлся контроль за деятельностью государственных учреждений, долгое время влачил самое жалкое существование, хотя во главе его и стоял такой авторитетный человек, как Сталин. Но Сталин был занят другими делами: фронтами, работой в политбюро, в оргбюро, сколачиванием хоть какой то работы учреждений и предприятий — всем, чем угодно, но не контролем. Во главе Рабкрина фактически стоял слабый и больной, вскоре затравленный, сошедший со сцены, умерший потом от чахотки Аванесов. Он беспомощно метался среди груд бумаг, которые подсовывали ему отовсюду. Аппарат Рабкрина был каким то инвалидным домом для старых канцелярских крыс. Они утопали в бумажных потоках, вгрызались, с опозданием на год, на два, в какуюнибудь копеечную цифру, в неправильно замещенную штатную должность, заводили новую огромную переписку, бесконечно заседали, — а жизнь шла мимо них, под их носом разворачивались казенные склады, на ветер выбрасывались миллионные суммы, сорили золотом разные Красины, любой нарком удесятерил, если это нужно было ему, штаты нисколько о Рабкрине не заботясь. Ленин знал, что такое Рабкрин. Задумав сделать этот орган центром переустройства государственной машины, он откровенно писал: «Наркомат Рабкрина не пользуется сейчас ни тенью авторитета. Все знают о том, что хуже

поставленных учреждений, чем учреждения нашего Рабкрина, нет, и что при современных условиях с этого наркомата нечего и спрашивать». Но Ленин задумал провести коренную реорганизацию самого Рабкрина: свести его аппарат к самому ограниченному количеству служащих — он намечал 300-400 человек — «особо проверенных по части добросовестности и по части знания нашего госаппарата, а также выдержавших особое испытание относительно знакомства их с основами научной организации труда вообще и, в частности, труда управленческого, канцелярского». Ленин мечтал собрать таким образом в новом Рабкрине наилучшее и наиболее прогрессивное из того, что могла выделить миллионная армия государственных служащих — «человеческий материал действительно современного качества, т. е. не отстающий от лучших западно-европейских образцов». Служащим Рабкрина по идее Ленина должно было быть положено и «высокое жалованье, вполне избавляющее их от нынешнего, поистине несчастного (чтобы не сказать хуже) положения чиновника Рабкрина». Таким образом, должна была быть создана техническая основа для создания «орудия улучшения нашего аппарата», «наркомата, который должен определять собой весь наш госаппарат в целом».

Но Ленин шел дальше. Он предлагал реорганизованный аппарат Рабкрина слить с Центральной контрольной комиссией партии.

— Как можно, писал Ленин, соединить учреждения партийные с советскими? Нет ли тут чего либо недопустимого? — Я ставлю этот вопрос не от своего имени, а от имени тех, на кого я намекнул, . . . говоря,

что бюрократы имеются у нас не только в советских, но и в партийных учреждениях*)).

— Почему бы, в самом деле, не соединить те и другие, если этого требуют интересы дела? Разве кто-либо не замечал когда-либо, что в таком наркомате, как Наркоминдел, подобное соединение приносит чрезвычайную пользу и практикуется с самого его начала? Разве в Политбюро не обсуждаются с партийной точки зрения многие мелкие и крупные вопросы о «ходах» с нашей стороны в ответ на «ходы» зарубежных держав, в предотвращение их, ну, скажем, хитрости, чтобы не выражаться менее прилично? Разве это гибкое соединение советского с партийным не является источником чрезвычайной силы в нашей политике? Я думаю, что то, что оправдало себя, упрочилось в нашей внешней политике и вошло уже в обычай так, что не вызывает никаких сомнений в этой области, будет, по меньшей мере, столько же уместно (а я думаю, что будет гораздо более уместно) по отношению ко всему нашему государственному аппарату.. А ведь Рабкрин и посвящен всему нашему государственному аппарату, и деятельность его должна касаться всех и всяких, без всякого изъятия, государственных учреждений, и местных, и центральных, и торговых, и чисто чиновничьих, и учебных, и архивных, и театральных и т. д. — одним словом, всех, без малейшего изъятия... Почему же для учреждения с таким широким размахом, для которого, кроме того, требуется еще чрезвычайная гибкость форм деятельности, почему же для него не допустить своеобразного слияния контрольного партийного

*) Троцкий утверждает, что это намек на Сталина. См. Троцкий, Сталинская школа фальсификаций, стр. 87.

учреждения с контрольным советским? — Я бы не видел в этом никаких препятствий. Более того, я думаю, что такое соединение является единственным залогом успешной работы. Я думаю, что всякие сомнения на этот счет вылезают из самых пыльных углов нашего госаппарата и что на них следует отвечать только одним — насмешкой»^{*)}).

Самое ЦКК Ленин предлагал также реорганизовать. Прежде всего — расширить. До того ЦКК — являвшаяся верховным партийным судом — состояла всего из 7 членов. «Я предлагаю съезду выбрать 75-100 новых членов ЦКК из рабочих и крестьян. Выбираемые должны подвергнуться такой же проверке по части партийной, как и обыкновенные члены ЦК, ибо выбираемые должны будут пользоваться правами членов ЦК». Дальше Ленин предлагал пленарные собрания членов ЦКК слить с таковыми членов ЦК — и создать таким образом своего рода регулярно собирающийся партийный парламент. «Пленум ЦК нашей партии уже обнаружил свое стремление развиться в своего рода высшую партийную конференцию. Он собирается в среднем не чаще раза в два месяца, а текущую работу от имени ЦК ведут, как известно, наше Политбюро, наше оргбюро, наш секретариат и т. д. Я думаю, что нам следует докончить тот путь, на который мы таким образом вступили, и окончательно превратить пленум ЦК в высшие партийные конференции, собираемые раз в два месяца при участии ЦКК. А эту ЦКК соединить... с основной частью реорганизованного Рабкрин». От этого, по мнению Ленина, ЦК должен выиграть «и в смысле связи с массами и в смысле регулярности

^{*)} Собр. соч., изд. 1925 г., т. XVIII, ч. II, стр. 123-124.

и солидности его работы». Связь с массами должно было обеспечить то, что члены ЦКК должны были быть не из партийной чиновной верхушки, а «лучшие рабочие и крестьяне», т. е. должны были придти из низовых, народных слоев партии. Регулярность и солидность в работе должна была получиться от того, что ЦКК — а, следовательно, и пленум ЦК — обслуживался бы образцовым аппаратом Рабкрина, который вникал бы во все отрасли государственного управления. Но мало того. «Тогда можно будет (и должно) завести более строгий и ответственный порядок подготовки заседаний Политбюро, на которых должно присутствовать определенное число членов ЦКК, определенное либо известным периодом времени, либо известным планом организации». «Нарком Рабкрин совместно с президиумом ЦКК должен будет устанавливать распределение работ ее членов с точки зрения обязанности их присутствовать на заседании Политбюро и проверять все документы, которые так или иначе идут на его рассмотрение, либо с точки зрения обязанности их уделять свое рабочее время теоретической подготовке, изучению научной организации труда, либо с точки зрения их обязанности практически участвовать в контроле и улучшении нашего госаппарата, начиная с высших государственных учреждений и кончая низшими местными и т. д.». «Я думаю также, что помимо той политической выгоды, что члены ЦК и члены ЦКК при такой реформе будут во много раз лучше осведомлены, лучше подготовлены к заседаниям Политбюро (все бумаги, относящиеся к этим заседаниям, должны быть получены всеми членами ЦК и ЦКК не позже, как за сутки до заседания Политбюро, за исключением случаев, не терпящих без-

условно никаких отлагательств, каковые случаи требуют особого порядка для ознакомления членов ЦК и ЦКК и порядка решения их), к числу выигрышей придется отнести и то, что в нашем ЦК уменьшится влияние чисто личных и случайных обстоятельств и тем понизится опасность раскола... Наш ЦК сложился в группу строго централизованную и высоко авторитетную, но работа этой группы не поставлена в условия, соответствующие его авторитету. Этому помочь должна предлагаемая мною реформа, и члены ЦКК, обязанные присутствовать в известном числе на каждом заседании Политбюро, должны составить сплоченную группу, которая, «не взирая на лица», должна будет следить за тем, чтобы ничей авторитет не мог помешать им сделать запрос, проверить документы и вообще добиться безусловной осведомленности и строжайшей правильности дел». Заметим, что в отношении членов ЦК Ленин исходит, как из вещи само собой разумеющейся, что каждый из них, раз пожелает, может присутствовать в заседании Политбюро. Таким образом, свой высший партийный парламент («высшая партийная конференция») Ленин мыслил во всех его частях как орган, не только время от времени совещающийся и в этих совещаниях обсуждающий деятельность фактического правительства, но и как участвующий во всей его текущей работе.

XXVII.

Я сознательно остановился так подробно на ленинском плане новой организации Рабкринна и ЦКК.

Ленин сам придавал ему огромное значение, клал его в основу своего политического завещания.

Самое главное в этом плане — это ленинская идея слияния партии и государства в единый аппарат. Ленин понимал, что с течением времени партия, как таковая, как государство в государстве или над государством, должна отмереть. Партия нужна, когда определенное политическое течение идет к власти: она организует народные массы для переворота. Партия нужна, когда в буре гражданской войны утверждается новая власть. Партия нужна, когда создается аппарат новой власти. Но когда власть завоевана, утверждена, создан новый аппарат — партия перестает быть нужной. В дальнейшем все ее прежние функции свободно может и должна перенять государственная машина нового строя. Само новое государство становится партией, члены которой — все без исключения винтики государственной машины. Если партия не сумела создать такого государственного аппарата, который становится в дальнейшем наследником и претворителем ее идей, — значит, она не сумела выполнить до конца своей исторической задачи. Если же сумела — она, значит, сделала все, что должна была, и может уйти. Вернее: раствориться в созданном ею государстве. Если же партия все таки остается — она должна неизбежно обратиться в касту привилегированных людей, паразитически никчемно существующих на народном теле, являющихся тормазом дальнейшего развития. Как все, что тормозит историческую жизнь народов, она неизбежно будет рано или поздно сметена. Причем, как это ни странно, против нее первые восстанут ее же члены — работники государственного ап-

парата. Ибо формальное состояние в партии само по себе мало что определяет в ее членах: определяет их социальное положение, работа, которую они ведут, среда, которая на них давит. Государственный аппарат, как часть народного организма, развивающаяся вместе с ним, толкает и будет толкать вперед по пути живых народных потребностей членов партии, работающих в нем. Члены партии и партийного аппарата, застывшего в своих формах и догме, будут становиться невольно консервативным элементом. Меж ними неизбежен раскол, неизбежна борьба — и на определенной стадии развития государство, за которым народ и его потребности, неизбежно должно победить партию, за которой только ее прошлое, а в настоящем — безжизненная, тормозящая жизнь, догма. Все это понимал и предвидел Ленин — и планом своим он хотел положить начало новой организации государственного аппарата и поглощения последним партии.

Но, скажут мне, ведь именно его план признает верховенство партии над государственным аппаратом, подтверждает за политбюро его положение фактического правительства, создает новый орган правительственного действия и контроля в лице пленума ЦК и ЦКК. Но иначе Ленин действовать не мог. Он вынужден был считаться со сложившейся обстановкой.

У него у самого — он чувствовал это — не было уже времени предпринять коренную перестройку партийного и государственного аппарата в целом. Меж тем фактическая власть к тому времени, как он создавал свой план, успела уже сосредоточиться в партийном аппарате. Решающей фигурой уже становился Сталин. Ленин прекрасно видел, что после его смерти Сталин через партийный аппарат придет к личной

диктатуре — и неизбежно пойдет против всех его планов: будет усиливать и розное от государственного существование партийного аппарата и его верховенство над государственным, ибо и то и другое будет обеспечивать его власть. Поэтому Ленин решил ограничить прежде всего власть Сталина и руководимого им аппарата в самой партии. Для этого он и создавал не только заседающий, но и действующий партийный парламент. Но продуктивность работы этого парламента он ставил в зависимость от государственных учреждения — Рабкрина — составленного из «лучших людей». И основной задачей и Рабкрина и ЦКК он ставил: пересоздание государства, выработка новых его форм. Для этого он предлагал даже его членам ездить учиться за границу. Вместе с тем он вливал в ЦКК широкую струю людей из народа. Все это, полагал он, приведет людей ЦКК — под давлением жизни — к тем же мыслям, какие были у него. Права же, какие он им предоставлял, обеспечивали за ними возможность проведения в жизнь выработанной им новой организации государства, не считаясь с сопротивлением партийного аппарата и его главы.

Сталин прекрасно в свою очередь видел, куда вели планы Ленина. И он и руководимые им люди стали в резкую оппозицию им.

«Т. Бухарин (тогда редактор «Правды». С. Д.), рассказывает Троцкий*), не решался печатать статью т. Ленина, который со своей стороны, настаивал на немедленном ее помещении. Н. К. Крупская сообщила мне об этой статье по телефону и просила вме-

*) Троцкий, Сталинская школа фальсификаций, стр. 84. Заметим: Троцкому по той обстановке планы Ленина были выгодны.

шаться, в целях скорейшего напечатания статьи. На немедленно созванном по моему предложению Политбюро все присутствовавшие: тт. Сталин, Молотов, Куйбышев, Рыков, Калинин, Бухарин были не только против плана т. Ленина, но и против самого напечатания статьи. Особенно резко и категорически выражали члены Секретариата*). В виду настойчивых требований т. Ленина о том, чтобы статья была ему показана в напечатанном виде, Куйбышев, будущий нарком Рабкрин, предложил в указанном заседании Политбюро отпечатать в одном экземпляре номер «Правды» со статьей т. Ленина, чтобы успокоить его, скрыв в то же время статью от партии**). Главным аргументом склонившим к напечатанию письма, был тот довод, что ленинской статьи все равно от партии не скроешь».

На состоявшемся вскоре (апрель 1920 г.) съезде партии ленинское предложение — в его отсутствие — было обсуждено и формально принято, хотя и встретило много возражений. Но из орудия против себя Сталин сумел обратить его в мощно орудие для себя. Председателем ЦКК и наркомом Рабкрин он назначил члена своего секретариата и своего приспешника Куйбышева. В члены ЦКК были подобраны в большинстве «свои» — послушные аппаратные люди. Контроль со стороны ЦКК за работой по-

*) Постановлением IX съезда партии состав секретариата ЦК был усилен введением в него 3 членов ЦК для постоянной в нем работы. Тогда же было постановлено: «передать в ведение секретариата... текущие вопросы организационного и исполнительного характера, сохранив за оргбюро из 5 членов ЦК общее руководство организационной работой ЦК». Стеногр. отчет IX съезда. Гиз. 1921.

**) Ленин был уже очень болен, лежал.

литбюро и партийного аппарата остался только формой. Члены ЦКК получали для ознакомления — как и члены ЦК — только то, что угодно было Сталину. В заседания Политбюро ходили всегда одни и те же члены президиума ЦКК — сталинские люди.

Никакой серьезной реорганизации аппарата Рабрина произведено не было. Никакой серьезной реорганизации государственного аппарата сам Рабкрин не произвел. Он и ЦКК обратились в подсобный аппарат ЦК, наполненный подобранными последним людьми. И из беспартийных чиновников в Рабкрине оказались не наилучшие, но наиболее покладистые. Главной задачей ЦКК стало — собирать компрометирующие материалы о работе государственных и партийных учреждений, и тем помогать Сталину держать людей в руках и сводить счеты с врагами. Авторитет ЦКК, как высшего партийного судилища, был использован для расправы с этими врагами. Там был исключен из партии Троцкий. Там же — Зиновьев, Каменев, Белобородов, Раковский и др.

XXVIII.

Внутренность дома ЦКК неинтересна. Входя в него, вы будто продолжаете обход экампии ЦК партии. То же типичное конторско-казарменное помещение, та же сборная, случайная, без всякой индивидуальности обстановка. Только здесь как то все мрачнее. Может быть, действует более темная наружная окраска дома, коридоров,—может быть, и это скорее, то, что люди,

приходящие сюда, в большинстве мрачны, подавлены... Мало кто приходит сюда по приятным делам. Обычно: для разбора каких либо неприятностей. «неполадок». Часто здесь расстаются навсегда с партийным билетом, с должностью, оказываются выкинутыми на улицу. Часто прямо из этого здания переходят в тюрьму. Сюда же со всех концов ползут бесчисленные доносчики. Создавшийся сейчас в партии и государстве режим в значительной мере держится на доносительстве членов партии друг на друга. Это один из вернейших способов знать все — и дела и мысли. Недоносительство карается. Доносительство — поощряется, возводится в доблесть — и у многих поэтому вошло в плоть и кровь. Вот как разсуждает сейчас «аппаратный» партиец: «... Когда кричат о существовании в партии доносчиков, которыми, якобы, пользуется ЦКК, это абсолютно недопустимо. В нашей партии не может быть доносчиков... Коммунист, который ведет борьбу против каких бы то ни было уклонов в партии, коммунист, который своевременно сообщает партии о той опасности, которая ей грозит, — выполняет свою партийную обязанность и применить к нему название доносчика нельзя. Мы знали доносчиков, которые действовали во вред рабочему классу (речь идет, очевидно, об агентах политической полиции старого режима, о провокаторах. С. Д.), но по отношению к тем, кто действует в интересах партии, приклеить эпитет «доносчик» нельзя»... Это говорилось на партийном съезде — как раз на том, который укрепил основы нынешнего режима в партии и государстве —, и эта речь была покрыта дружными аплодисментами. (XIV съезд. Речь Курунова. Стеногр. отчет. 617).

Что характерно здесь, это полицейский дух, выпирающий из всех щелей и из всех людей этого дома. Этот дух порождает характер работы — прежде всего полицейской. Но чего же удивиться. Еще Ленин, говоря о том, чем должны быть люди этого учреждения, писал: «Им придется подготавливать себя к работам, которые я не постеснялся бы назвать подготовкой к ловле, не скажу — мошенников, но в роде того, и придумыванием особых ухищрений для того, чтобы прикрыть свои походы и пр. Если в западноевропейских учреждениях подобные предложения вызвали бы неслыханное негодование, чувство нравственного возмущения и т. д. то, я надеюсь, что мы еще недостаточно бюрократились, чтобы быть способными на это. У нас нэп еще не успел приобрести такого уважения, чтобы обижаться при мысли, о том, что тут могут кого то ловить. У нас еще так недавно построена советская республика, и навалена такая куча хлама, что обидеться при мысли, о том, что среди этого хлама можно производить раскопки при помощи некоторых хитростей, при помощи разведок, направленных иногда на довольно отдаленные источники, или довольно кружным путем, едва ли придет кому либо в голову, а если и придет, то можно быть уверенным, что над таким человеком все мы от души посмеемся. Наш новый Рабкрин, надеемся, оставит позади себя то качество, которое французы называют прюдери, которое мы можем назвать смешным жеманством или смешным важничаньем»... (Собр. соч. Изд. 25 г. XVIII. ч. 11. 122).

Сталинский режим не замедлил воспользоваться «заветом Ильича»: ЦКК никакой прюдери не отличается, в самой широкой степени занимается поли-

цейским сыском, сконцентрировав его, главным образом, на политических людях и делах. В своей политико-полицейской работе ЦКК не останавливается ни перед чем — вплоть до «хитростей» самой грязной провокации.

Там, где полицейская работа, нужны и специалисты полицейского дела. Поэтому в ЦКК и Рабкрине сидит большое количество людей, прошедших полицейскую школу в стенах ГПУ. Например, нынешний заместитель Наркома Рабкрин, Прокофьев, пришел сюда прямо из ГПУ, где он заведывал экономическим отделом, — т. е. приканчивал частную торговлю, боролся со спекуляцией и вредительством, а до того он был помощником заведующего иностранным отделом ГПУ. Большой и достаточный для ЦКК стаж! Вообще, надо заметить, что между ГПУ и ЦКК теснейшая связь. Это вполне понятно: без взаимных услуг эти два учреждения не могут продуктивно работать. И часто в высшей степени трудно произвести разграничение: где, собственно, кончается работа ГПУ и начинается ЦКК — и наоборот. ГПУ снабжает ЦКК сведениями и по партийной линии и о делах и порядках в государственных и пр. учреждениях. ЦКК со своей стороны предоставляет свои материалы для исследования в ГПУ, дает ГПУ те или иные задания. Указывает, напр., за какими членами партии, внесенными в списки «ненадежных», надо следит, каких членов партии надо скомпрометировать, надо найти недостатки в их работе. Наконец. ЦКК передает ГПУ на исполнение дела исключенных членов партии, подлежащих дальнейшему преследованию в порядке «нормальной» советской законности, т. е. заключению в тюрьму, ссылке, отдаче под постоянный полицейский надзор;

наконец, и «полной ликвидации». Ну, а помимо всего этого, ЦКК осуществляет негласный надзор за ГПУ, а ГПУ, в свою очередь, исподтишка подслеживает за ЦКК: мало ли что может завестись и в этом «авторитетном» учреждении. Результаты этого взаимного наблюдения, как и все результаты полицейской работы обоих учреждений, скрещиваются, поверяются, используются в кабинете Сталина.

Аппарат ЦКК раскинут по всей России, разветвляясь так же, как и аппарат ЦК (республиканские, областные, губернские и уездные КК). По линии Рабкрина ЦКК имеет по всей России свыше 3000 чиновников: инспекторов, следователей и т. д.

...Первым председателем ЦКК и наркомом Рабкрина был Куйбышев. Как личность, он большого интереса не представляет. Часто, наблюдая Куйбышева на заседаниях совнаркома, я думал о том, как обманчива внешность. Его лицо сразу бросается в глаза — особенно громадный откинутый назад лоб. За таким лбом, кажется, должны быть скрыты мысли гения. Но вот Куйбышев раскрывает рот — и вы поражены: до чего плоско, мелко, как то слишком уж обыденно то, что он говорит; и часто невпопад, не на тему... Он очень усидчив, работоспособен — но яркости в нем никакой, его речи бесцветны даже в сравнении с речами других посредственностей из ближайшего окружения Сталина. Но Сталин верит ему, считает целиком своим человеком — и потому всегда выдвигает на должности, требующие своего глаза и верной руки. Свою карьеру Куйбышев сделал при Сталине. С начала революции он работал в Самаре, был безсменным председателем тамошнего совета рабочих депутатов. От Самары же был избран в учре-

дительное собрание. Потом в Москве попал в аппарат центрального комитета партии. Был членом секретариата — и оказал большие услуги Сталину, когда тот еще завоевывал власть. Как председатель ЦКК вошел в политбюро — член политбюро и сейчас. Как таковой — он всегда голосует за Сталина. Как глава учреждения — всегда безропотно проводит его линию. Он в полном смысле этого слова сталинская «креатура».

О моральных его качествах можно судить по его предложению скрыть от партии ленинский проект реорганизации ЦКК и Рабкрина, а для успокоения Ленина отпечатать один — единственный номер «Правды» с его статьей. Это предложение характерно для Куйбышева — как для Сталина характерно то, что осуществлять ленинский план он посадил именно Куйбышева.

Куйбышевым по указаниям Сталина создана ЦКК в нынешнем ее виде.

После смерти Дзержинского Куйбышев был переведен на его место — председателем ВСНХ. На его плечи упали первые годы промышленной пятилетки. Плечи оказались слишком неподходящими — после яркого, темпераментного, инициативного Дзержинского бесцветность Куйбышева сказалась особенно сильно. Планы проваливались, все шло шиворот навыворот. Все понимали: главная вина в хозяйственных неудачах и глубже и выше — в общей ненормальной обстановке в стране, в создавшей ее «генеральной линии», в творце этой линии, Сталине. Но о Сталине нельзя было говорить — тем громче начали говорить о его креатуре. Чтобы не компрометировать окончательно преданного человека, Сталин перевел Куйбы-

шева на более спокойную, но не менее важную должность — председателем Государственной плановой комиссии. Там он и сейчас.

После Куйбышева председателем ЦКК стал Орджоникидзе, — Серго, как — просто по имени — любят называть его в партии. Как и Куйбышев — он из «старой гвардии» большевизма. Старый друг Сталина: сошлись в молодости еще, на Кавказе.

Орджоникидзе грузин. По наружности — типичный кавказец. Правильный, благородный овал лица. Выразительные черные глаза. Густые черные волосы над выпуклым и красивым лбом. Черные торчащие в стороны усы придают ему воинственный вид. И вид этот соответствует натуре. Он подлинный воин, прирожденный солдат. У него горячая, волевая, действенная натура. В стенах канцелярий он чувствует себя неважно. Теоретические споры, бумажные бои не по нем. Да он слабо в них и разбирается. Когда началась февральская революция — она застала его в ссылке — в Якутске — он, друг Ленина и Сталина, стал преблагополучно сотрудничать с меньшевиками в журнальчике, который издавал Ярославский. Орджоникидзе, повидимому, всегда нужно, чтобы в теоретических боях за ним стоял бы кто либо более сильный, кому бы он верил, и на кого он, как на стену, мог бы опереться. Но в поле, в горах, в бою — он в своей стихии, и там он стена, на которую опираются другие. Словом, лучше всего он чувствует себя там, где надо меньше рассуждать, но зато крепко действовать: бомбой, кулаком, кинжалом. Именно такова была его работа в партии в первую революцию. Когда ее волна схлынула, ему стало не по себе в России. Он перекочевал в Персию. Говорят,

что он занимался там разбоем. Не знаю, верно ли это. Но верно то, что он принял самое активное участие в персидской революции.

Его любят в партии. Да его и нельзя не любить. И он подзапачкался в болоте партийных интриг. И он привык лгать, фальшивить, изворачиваться. Но в глубине его души осталось много врожденного благородства. Его слову можно верить — что не так часто у других советских сановников. Преданного ему человека он не выдаст никогда. В личной жизни, в частном общении он очень приятный человек: это, впрочем, часто бывает у суровых и в бою беспощадных солдат. В нем много детской какой то, ясной простоты, много теплой доброты. Лично мне — я как то, в его приезд в Берлин, наблюдал его вне заседаний и дел, как человека — редко приходилось встречать так подкупающих внутренней своей простотой и сердечностью людей.

В начале октябрьской революции большой роли не играл. Разъезжал с поручениями ЦК партии, главным образом по фронтам. Работал при петроградском комитете партии. В гражданскую войну ушел на фронт, был членом реввоенсовета. Здесь опять столкнулся — и еще ближе сошелся со Сталиным. Стал вместе с Дзержинским основной опорой Сталина в рядах «старой гвардии». Сталин поручал ему самые трудные, требовавшие решительности и мужества дела. Это Орджоникидзе покорила для советов родную Грузию, залил ее кровью. Орджоникидзе же разгромил «социал-националистов» в Грузии — национальную оппозицию в тамошней коммунистической партии — и перенес и туда сталинский «зажим». По словам Троцкого, Ленин, узнав о расправе, произведенной

Орджоникидзе над грузинскими коммунистами, был возмущен его «генерал-губернаторскими замашками» — и считал необходимым, за бюрократическое самоуправство . . . исключить из партии. Я возражал, отмечает Троцкий. — Ленин отвечал через секретаря: «По-крайней мере на два года»... Как далек был Ленин в тот момент от мысли, что Орджоникидзе станет во главе Контрольной комиссии, которую Ленин намечал для борьбы против сталинского бюрократизма и которая должна была воплощать совесть партии» . . . Рассказ Троцкого находит подтверждение и в документах. Сохранилась записка, которую Ленин написал преследуемым Орджоникидзе грузинам. «Всею душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского».

Разгром троцкистов, их исключение из партии, ссылка, тюремное заключение многих, разстрел некоторых прошли при самом деятельном участии Орджоникидзе, как председателя ЦКК. Так же энергично участвовал он и в разгроме правых.

В конце 30 г. Орджоникидзе был переведен на должность председателя ВСНХ. От критики «социалистического строительства» в органах Рабкринна он перешел к его осуществлению. Сталин рассчитывал на его энергию и темперамент. Орджоникидзе горячо и искренне взялся за дело, к которому ни подготовлен, ни по натуре призван не был. Он был, пожалуй, самым честным председателем ВСНХ. Никто не дал такой уничтожающей критики бюрократического осуществления промышленной пятилетки и ее провалов, как он. Но одна критика не могла помочь. На последней партийной конференции (XVII) Орджоникидзе должен был признаться, что его ругают со всех

сторон. А Сталин, очевидно, на примере Орджоникидзе, одного из наиболее ярких и сильных своих помощников, убедился, что людей достаточно крупных для того, чтобы объять одному кому либо из них громаднейшее дело руководства советской промышленностью, у него нет. ВСНХ было решено раздробить, создав несколько отдельных наркоматов: тяжелой, легкой промышленности и т. д. Сейчас Орджоникидзе стоит во главе наркомата тяжелой промышленности, являясь одновременно членом политбюро.

Орджоникидзе не такое слепое орудие Сталина, как Куйбышев. У Орджоникидзе известная самостоятельность есть. Если он идет за Сталиным, то только потому, что верит в него и в его политическую линию. Но иногда и Орджоникидзе начинает сомневаться — и тогда он может даже причинить Сталину ущерб.

Так было в 23 году, когда, в связи с обострением болезни Ленина и со все увеличивавшейся властностью Сталина в центральном аппарате партии, у Троцкого и Зиновьева, возникла мысль организационно ограничить Сталина. Воспользовались тем, что в Кисловодске отдыхал ряд решающих работников партии — и там, за спиной Сталина, Зиновьевым было созвано совещание по вопросу о реорганизации аппарата центрального комитета. Совещание — для конспирации, видимо, — происходило в пещере, откуда потом и получило название: «пещерное». Там были и друзья и единомышленники Сталина — интрига была задумана тонко, в нее хотели вовлечь и связать тем самым и сталинских людей. Был Бухарин. Был Фрунзе. Был Орджоникидзе. Из Ростова телеграммой был вызван Ворошилов — тогда командующий северо-

кавказским военным округом. Речь шла о том, чтобы вырвать и из рук Сталина секретариат ЦК, т. е. партийный аппарат.

«... У нас, — рассказывал после, многое смягчая, во многом фальшивя, Зиновьев, — возникли два плана. Один план — сделать секретариат служебным, другой — «политизировать» секретариат в том смысле, чтобы в него вошло несколько членов политбюро и чтобы это было действительно ядро политбюро. Вот между этими двумя планами мы и колебались. В это время назревали уже кое-какие личные столкновения — и довольно острые столкновения — с тов. Сталиным».

Творцы интриги прежде всего обработали Бухарина — мягкого Бухарина, про которого еще Ленин как то говорил: «... Мы знаем все мягкость т. Бухарина, одно из свойств, за которое его так любят и не могут не любить. Мы знаем, что его не раз звали в шутку: «мягкий воск». Оказывается, что на этом «мягком воске» может писать, что угодно, любой беспринципный человек, любой демагог». И вот, по словам Зиновьева, «возник план, принадлежавший Бухарину, ... может быть, нам политизировать секретариат таким образом, чтобы это было нечто вроде малого политбюро». Так возникла идея триумвирата во всемогущем секретариате: Троцкий, Зиновьев, Сталин*). Возражал один только Ворошилов. «Я считаю, что это комбинация искусственно

*) Ворошилов, между прочим, определенно заявляет, что идея триумвирата была не бухаринской, а самого Зиновьева (т. е. и Троцкого). «Т. Бухарин в этой комбинации играл роль миротворца: ему казалось, что наступают страшные дни потрясений, против Сталина собираются тучи и необходимо что то такое сделать, что примирило бы наших вождей».

склеенная, ничего не даст» — твердо заявил он. Бухарин же написал Сталину убеждающее письмо. Согласился с этим планом и Серго Орджоникидзе. Мало того — он согласился, как «ближайший друг Сталина», ехать в Москву убеждать его. Сталин, конечно, разгадал пружины интриги. «Ответил телеграммой грубовато-дружеского тона: мол, дескать, ребята, вы что то путаете. Скоро приеду, тогда поговорим». Приехал — и свел все планы на нет. Но, видимо, тогда впервые Сталин понял, что Орджоникидзе не всегда надежный для него союзник.

Колебался Орджоникидзе и в 25 г., когда шла дискуссия о возможности построения «социализма в одной стране». Опять Зиновьеву удалось его обработать, и «ближайший друг Сталина», честный Серго, говорил Зиновьеву — «пиши против Сталина».

Колеблется частенько Орджоникидзе и сейчас — особенно после того, как на личном опыте управления ВСПХ, убедился в том, как трудно строится «социализм в одной стране».

Сталин искренне любит и ценит Орджоникидзе. Несомненно считает его во многих отношениях самым близким себе человеком. И всетаки не во всем полагается на него. Ибо «теоретическая» душа Серго подобна бухаринской: мягка, как воск. И на ней часто могут оказаться написанными неожиданные вещи. В то же время, повторяю, — Орджоникидзе, хоть и повыпачкался в болоте интриг, в глубине души остался искренним, честным, благородным человеком. Он искренне хочет блага страны. И он может, если его убедят, что благо страны не в Сталине, пойти против последнего.

В конце 1930 г., одновременно с назначением Молотова председателем совнаркома, председателем ЦКК и Рабкрин был назначен Андреев. В истории этого учреждения — на короткое, правда, время — открылась новая полоса, проявились новые тенденции. Впервые выяснилось, какой большой силой может оно быть не только на службе центрального аппарата партии, но и действуя против него.

Андреев в то же время был сделан первым заместителем Молотова по Совнаркому. Это-то назначение и предопределило то использование, какое он попытался дать аппарату ЦКК.

...Расчеты Сталина в отношении Молотова при назначении его председателем совета народных комиссаров оказались ошибочными.. Вместо того, чтоб еще сильнее связать государственный аппарат, окончательно превратить его в технический придаток к партийному, пресечь в его недрах возможность образования оппозиции партийному руководству, — Молотов стал вольно и невольно подымать значение государственного аппарата и тем самым способствовать росту государственной оппозиции.

Прежде всего, в перемене позиции Молотова в отношении государственного аппарата сказалась перемена его личного положения. Пока он сидел в партийном аппарате, его энергия и упорство были направлены на ту же точку, что воля Сталина, что тенденции партийного аппарата. Он был неотделим от Сталина и партийного аппарата: укрепляя их, он укреплял и расширял свою собственную власть. И там он привык быть в центре, чувствовать себя решающим цен-

тром. Его посадили в кресло предсовнаркома и сказали: твоя задача еще больше принизить это учреждение, сделать его в полном смысле подсобным. Тем самым подсобным винтиком, во всех отношениях подчиненным центру, становился и Молотов. К этому он не привык — с этим не мог примириться. И невольно стал перемещать нити влияния, власти в свой центр. Вот здесь то и помогло Молотову наличие Андреева, оказавшегося в том же положении, шедшего вместе с ним, во главе ЦКК.

Одним из первых шагов Молотова было создание при совнаркоме нового органа: комиссии исполнения. Ее задача — следить за тем, как выполняется пятилетний план. Но пятилетний план в сегодняшней России — это почти все, обнимает все почти области государственной, хозяйственной и партийной жизни. И тот, кто становится — реально — контролером над исполнением пятилетнего плана, начинает тем самым контролировать всю почти советскую жизнь и движущую ее машину.

Председатель комиссии исполнения — Молотов, как председатель совнаркома. Заместитель председателя — его первый заместитель по совнаркому (тогда Андреев). «Для согласования» работы комиссии исполнения с линией центрального комитета в ее состав входит один из секретарей последнего (Постышев). Комиссия имеет свой секретариат, во главе которого Молотов поставил одного из талантливейших людей «второго поколения», выдвинувшегося вначале в партийном аппарате, потом затертого по ряду причин, И. Межлаука.

Комиссия исполнения создана была, разумеется, по постановлению политбюро — но никто, вероятно,

вначале не предвидел, какой большой силой сможет она стать. На практике комиссия исполнения стала перетягивать к себе — т. е. в аппарат совнаркома — ряд существеннейших функций партийного руководства. В частности, она посягнула на его монопольное право ведать судьбой людей. Это вытекло вполне естественно из задач комиссии. Весь смысл комиссии не в академическом наблюдении за ходом «социалистической стройки», но в том, чтобы подгонять эту стройку, вскрывать ее недостатки, указывать, что надо сделать, как выправить, выправлять самой работу хозяйственных и административных органов. Для всего этого неизбежно надо было делать «организационные выводы», т. е. менять, карать, награждать людей. В скором времени по образовании комиссии исполнения, советские газеты запестрели ее постановлениями, определявшими дальнейший конкретный ход выполнения пятилетнего плана — и в частности длинными списками людей, которые смещаются с работы, предаются суду, или, наоборот, награждаются и выдвигаются. Комиссия показала, что она обладает реальной властью над людьми.

Само собой разумеется, что все решения комиссии исполнения и согласовывались и приводились в исполнение органами партийного аппарата. Но в делах людей решает всегда тот, кто имеет исчерпывающие сведения о них. До сих пор наличие таких сведений, почерпнутых главным образом из аппаратов ЦКК и ГПУ, было монополией ЦК и его органов. И если положение осталось прежним — постановления комиссии исполнения в отношении людей были бы чисто — теоретическими: комиссия была бы всецело в руках партийного аппарата — его вооруженности материала-

ми. Но Молотов и Андреев не даром были людьми, строившими партийный аппарат, создавшими его силу. В работе комиссии исполнения они обратили самое большое внимание на работу людей. И сделали подсобным аппаратом комиссии в деле изучения людей и их дел ЦКК и Рабкрин, а через ЦКК и ГПУ. В результате через некоторое время в аппарат комиссии исполнения — иными словами: в аппарат совнаркома — стали стекаться и собираться там те самые сведения, которыми до сих пор был силен только партийный аппарат. И в ряде случаев партийный аппарат стал превращаться в простого исполнителя постановлений комиссии исполнения — нечего было им противопоставить.

В результате совнарком и его новый глава стали оказывать серьезное влияние на все перемещения людей внутри государственного, а отчасти даже и партийного аппарата. Формы, конечно, соблюдались старые — вопросы, вызывавшие трения, переносились в партийные инстанции, окончательно решались в политбюро. Но у Молотова для давления на решения политбюро оказалась уже твердая почва под ногами. Ему и Андрееву удалось оказать решающее влияние на такие серьезные перемещения, как замена Мессинга Акуловым в ГПУ, как снятие — и даже с выговором — народного комиссара путей сообщения, Рухимовича.

Из всего этого выросла большого значения принципиальная борьба, составляющая сейчас, пожалуй, самый серьезный факт политической жизни страны советов.

Молотов стал — вольно и невольно — тем центром, к которому начали тяготеть, вокруг него соби-

ратся все силы государственной и русско-национальной оппозиции. Но о принципиальной стороне этой борьбы — дальше. Сейчас отметим только, что на одном из ее этапов Молотов потерпел уже некоторое поражение: его разобщи́ли с Андреевым. Последнего назначили народным комиссаром путей сообщения, оставив, правда, членом политбюро. Председателем ЦКК и Рабкрина и первым заместителем Молотова по совнаркому стал Рудзутак. Его задача — ослабить все возрастающее значение Молотова. Та же задача возложена на секретаря ЦК Постышева — по партийной линии. Дело, конечно, не только в Молотове. Дело в борьбе между партией и государством, меж русской и инородческой частью партийного и государственного аппарата.

... Рудзутак относительно молодой человек: немного за сорок. Латыш, из бедной крестьянской семьи. Был простым батраком. Почти мальчиком вошел в революционное движение, в партию большевиков — принял участие в первой революции, котрая в нынешней Латвии протекала особенно напряженно. В 1907 г. он был арестован и посажен в каторжную тюрьму. Освободила его только революция 1917 г. Таким образом Рудзутак вступил в революцию почти без всякого жизненного опыта, но с довольно широкими теоретическими познаниями, приобретенными в усидчивой работе над собой в тюрьме.

Первое время он работал в профессиональных организациях, ничем особенно не выделялся, пока в конце 1920 г. не обратил на себя внимание Ленина. Партия в это время раздиралась дискуссией по вопросу о роли профессиональных союзов в государстве. Ленин имел против себя внушительную оппозицию —

в том числе и Троцкого и Бухарина. На происходившей в ноябре 20 г. всероссийской конференции профсоюзов Рудзутак выступил с докладом о производственных задачах профсоюзов. Тезисы этого доклада укрепляли точку зрения Ленина — тем более, что это был голос не какого-нибудь государственного «аппаратчика», а как раз профсоюзного работника. Этот работник доказывал то, что нужно было Ленину — что профсоюзы должны быть подсобным служебным органом государства в деле организации производства. Основная задача профсоюзов — это поднятие «пролетарской трудовой дисциплины» в интересах государства — владельца предприятий. Особенное ударение делал Рудзутак на необходимости создания жестких дисциплинарных судов, долженствующих явиться действительным средством борьбы с нарушением трудовой дисциплины.

— Вот это — платформа! — говорил о тезисах Рудзутака Ленин. — Она во сто раз лучше и того, что написал т. Троцкий, много раз обдумав, и того, что написал т. Бухарин, совершенно не обдумав. Нам всем, цекистам, не работавшим многие годы в профдвижении, надо бы поучиться у т. Рудзутака, и т. Троцкому, и т. Бухарину следовало бы поучиться у него!.. Эту платформу профсоюзы приняли... Дисциплинарные суды мы все забыли, а «производственная демократия» без дисциплинарных судов — одна болтовня!

Злые языки говорили тогда, что «тезисы Рудзутака» были написаны самим Лениным, что «Рудзутак — это псевдоним Ленина». Я не думаю, что это верно. Вероятнее всего, что Ленин, знакомясь с мыслью тогдашних профсоюзников, беседовал и с Рудзутаком.

Нашел у него сходные со своими мысли — и умело, как всегда, углубил эти мысли, внушил Рудзутаку то, что нужно. Как бы то ни было, Рудзутак был сделан членом ЦК, а вскоре и секретарем ЦК.

Он возглавлял некоторое время центральный союз железнодорожников. Был одно время в полуссылке в Туркестане — не поладив вначале со Сталиным. Надо сказать, что у Рудзутака тяжелый и упорный характер — и много независимости.

После ухода Дзержинского из Наркомпути, он был поставлен во главе этого ведомства — но работа там оказалась ему не по плечам. При нем начался нынешний развал русского транспорта.

Потом он был назначен на полусинекурную должность второго заместителя председателя совнаркома. Здесь начались его нелады с Молотовым. Молотов во всех делах ориентировался на своего первого заместителя, Андреева, игнорируя и оттесняя Рудзутака. Сейчас, зато, Рудзутак может торжествовать: он буквально навязан Молотову.

Рудзутак давнишний член политбюро — после ухода Каменева он там председательствующий член.

Мне часто приходилось наблюдать его: и в больших собраниях, и на замкнутых совещаниях у Дзержинского в Наркомпути, и в заседаниях совнаркома, и в частных разговорах. И всегда вспоминалось меткое определение Ленина:

— Рудзутак имеет тот недостаток, что не умеет говорить громко, внушительно, красиво. Не заметишь, пропустишь мимо.

По натуре он, очевидно, очень застенчив. Это видно из того, как он волнуется и краснеет, когда приходится выступать в больших собраниях, как мучи-

тельно выжимает из себя первые слова, как геройски тщится взять себя в руки — и от этого становится еще скучнее и суше. Но зато он деловит. Каждое слово, сказанное им, многократно продумано, взвешено. Бросаться словами на ветер он не любит.

Он очень заботится о внешности. Тщательно одевается: пожалуй, тщательнее и лучше всех других членов правительства. И тем не менее всегда выглядит как то нескладно. Длинное тело, на котором руки и ноги не знают, куда деваться. Мелкие черты немного плоского лица. Маленькие глазки за стеклами пенсне. Голос какой то деревянный, с сильным нерусским акцентом.

Мне думается, что на нем сильно сказалось тюремное сидение: десять долгих лет в одиночной камере. Отсюда много своеобразных черт. Например, такая характерная для многолетних тюремных сидельцев точно размеренная походка: привычка отмеривать шаги в маленькой камере — раз—два—три и обратно . . . раз—два—три . . . Отсюда же застенчивость, отсюда неумение обращаться с людьми. Внутри — он очень хороший человек, прекрасный товарищ. Но внешне он может быть крайне груб, сам того не замечая. У него отсутствует чувство той деликатности, которая так отличала Ленина. Он сам подчас сознается в этом. Отсюда и умение дисциплинировать себя, методически работать, вести размеренный образ жизни. Отсюда забота о здоровье, любовь к свежему воздуху. Он, между прочим, страстный охотник, и это тоже сближало его с Лениным. В последние годы жизни Ленин чаще всего охотился с Рудзутаком: оба были неумоимы.

Тем, что он так долго был оторван от жизни, в

сущности, начал жить только с революцией, объясняется, вероятно, его жадность ко всему, что может дать жизнь — особенно человеку в его положении. И здесь он не слишком стесняет себя. Отсюда его страсть к красивым вещам.

Он, безусловно, один из самых крупных людей нынешней верхушки. Он вовсе не администратор — поэтому на руководстве таким делом, как транспорт, он был не на месте. Но в работе совнаркома, в заседаниях политбюро он незаменим. Он много и систематично работает, много думает — и имеет нюх в решениях практических дел. Он прекрасно умеет находить формулировки в самых запутанных вопросах. Но основное его свойство, за которое его так ценит Сталин, это то, что на него всегда можно твердо положиться. Если он с кем либо идет — он не предаст, не продаст. С ним надо только уметь ладить. Он крайне обидчив и весьма злопамятен. Я знаю нескольких крупных работников, которым столкновение с ним стоило всей последующей карьеры. Рудзутак помнит обиду долгие годы — вероятно, не забывает никогда. Если он не может отомстить сразу — он замкнет обиду в себе, отомстит, когда представится случай, хотя бы через десять лет. Сталин знает это — и потому очень внимателен к нему, очень считается с ним, смотрит сквозь пальцы на все его слабости. Взамен он имеет в нем твердую опору.

...Из второстепенных фигур ЦКК наиболее интересен, пожалуй, Петерс. Это громкое имя, приобретшее кровавую славу в годы гражданской войны. Петерс был усмирителем и палачем многих городов России. Это он залил кровью Киев, он жестоким террором организовал «внутреннюю оборону» Петрограда

во время наступления Юденича, он же расправлялся с восставшим Кронштадтом. Он предан Сталину, давно зарекомендовал себя в его глазах, как послушная и точная машина истребления людей. В ЦКК и Рабкрине он долгое время был членом президиума — управляющим делами: на нем лежала задача организовать это учреждение. Организатором он оказался, как я слышал, плохим. Очевидно потому, что не умел разбираться в людях, любил и терпел вокруг себя, как все деспотические натуры, только прислуживающих рабов. Но сам он работать умеет — и всегда поэтому завален работой. Он долгое время входил в состав подготовительной комиссии при союзном совнаркоме — и ему обычно поручали разбираться в делах, где требовалась особая жестокость подхода: сокращение штатов, ведомственных смет и пр.

Изредка мне приходилось заседать в его кабинете в здании ЦКК в разных комиссиях. Что меня всегда поражало там: это удивительная чистота и порядок. Все папки и бумаги разложены стопочками. Видно, что человек любит систему, порядок. Всегда невольно приходила мысль: вот так же систематически, по порядку он уничтожал и людей. Вспоминаю и его кабинет в доме на Морской в Петрограде в дни Юденича, когда он был начальником внутренней обороны. Мне приходилось заглядывать туда по делам: среди общего хаоса тогдашних дней в кабинете Петерса был тот же холодный порядок.

Часто я вглядывался в его лицо: жуткое оно или просто кажется таким — гипноз его прошлого, профессии, репутации? — Он напоминает немного злого и упрямого бульдога. Та же сильная челюсть, которая, кажется, если вгрызется — разжаться уже не

сможет. Щеки немного обвисли, у губ брезгливая и усталая складка. Несколько вдавленный, будто проломленный нос. Небольшие серые глаза обычно холодно-насмешливы. Иногда же вспыхивают острым, злым, неумолимым огоньком. Он немолод — и волосы с сильной проседью; может быть от этого его лицо кажется серым. Говорит отрывисто, повелительным, не допускающим возражения тоном. Легко вспыхивает, обрывает людей, начинает говорить резкости. Много, конечно, зависит от того, с кем говорит. Долгие годы советской работы обломали и Петерса. Людей со связями и положением он уважает. И с ними сдерживает себя. Умеет даже — по своему, грубовато — лебезить.

В частной жизни мне не приходилось с ним встречаться. Но мне говорили, что в ней он совсем другой человек. Приятный собеседник, много знает, много читал. Недавно я видел иностранца, который случайно встретил Петерса в одном частном московском доме. Он рассказывал мне о проведенном вечере прямо с восторгом. И все спрашивал:

— Скажите, неужели это тот самый знаменитый Петерс? Не может же быть. Поверить нельзя. Он такой воспитанный человек, такой мягкий и предупредительный собеседник.

Часто, когда в заседаниях комиссии по выездам за границу, Трилиссер, начальник иностранного отдела ГПУ, или один из его заместителей, начинали возводить обвинения против того или иного партийца, и эти обвинения оказывались ничем не подтвержденными, Петерс вспыхивал, резко возражал, указывал, что нельзя без оснований компрометировать человека, брал дело «на исследование» и разбор в ЦКК —

и через несколько дней в новое заседание приходил торжествующий: не дал безвинно очернить человека. Дело пересматривали. Но характерно: это бывало только в отношении партийцев. По моим наблюдениям, у Петерса мир резко разделен на две части: «свой» — коммунисты, рабочие, частью крестьяне, «трудящиеся» — и «враги» — буржуазия, интеллигенция, «кулаки». К «своим» можно и надо быть справедливым. К «врагам»... Когда в 29 г. происходила чистка государственного аппарата, и многих людей за их социальное происхождение выбрасывали на улицу, некоторые задавали вопрос: что же будут делать эти люди, зачастую сами по себе ни в чем неповинные? ведь им остается подышать с голоду? — Петерс ответил статьей: пусть подышают... «мы не обязаны заботиться о наших классовых врагах»... И вот возьмите: иностранец, явный «буржуй» — приходит в восторг от мирности и приятности Петерса. В чем дело? Петерс ли так изменился? Или таковы просто глаза у некоторых иностранцев, приезжающих в Россию: все окрашивают, все хотят окрасить в розовый цвет...

Петерс одновременно состоит членом коллегии ГПУ. Последнее время его выдвинули кроме того на крупную роль в московском совете. Играет он значительную роль и в московской организации партии.

Из других людей ЦКК стоит остановиться на Ройзенмане. Он хорошо известен за границе своими инспекторскими налетами на полпредства и торгпредства. И его мне приходилось часто наблюдать. Огромный, пожалуй, жутковатого типа человек. Ежели стукнет своим громадным кулаком — только мокро будет. А он в состоянии стукнуть. По национальности он еврей;

был прежде грузчиком не то в Одессе, не то в Николаеве. Как то он рассказывал мне о своей прошлой жизни. Тягостная, полная издевательств, унижений, от которых у него накопилось много озлобления и ненависти. Лично он, Ройзенман, очень честный человек. Фанатик революции, которая его и ему подобных освободила и подняла. И может быть именно поэтому Ройзенман приходит в неистовство, когда видит те или иные злоупотребления. А их немало — особенно в заграничных учреждениях, особенно в торгпредствах. Дипломат Ройзенман никудышный, человек малообразованный, грубый — поэтому из его ревизий часто получаются скандалы. И тем не менее его считают незаменимым именно для этой работы. Считают, что он никого не будет покрывать, не остановится ни перед чьим протезом.

XXX.

Человеком, наиболее характерным для аппарата ЦКК, определяющим своим умственным ничтожеством и моральным уродством его лицо, является член президиума ЦКК и ее секретарь (и член политбюро — по должности) — М. И. Губельман. В стране и в партии он известен под псевдонимом: Емельян Ярославский.

Прежде его часто можно было встретить на улицах Москвы: у ворот Кремля, у ЦКК на Ильинке, у ворот ГПУ.

Большое тучное тело. Лицо мясистое, опухшее от неправильной жизни, от обжорства. На картофелине, заменяющей нос, пенсне, под которым поблескивают хитрые и наглые выпуклые глазки. В руке всегда болтается громадный портфель. Летом обычно без шапки, ветер раздувает неопрятную копну сильно поседелых волос. Одет в толстовку, длинную и широкую, несколько скрывающую формы ожирелого тела. Зимой — в меховом полушубке и шапке, под мужика. Во всем его виде много нарочитости, много наигранной простоты, «мужиковатости». Таким же пытается он быть в обращении с людьми. Он хочет, чтобы в нем видели человека, который живет одной только революцией, который не «обюрократился», не «оторвался от масс». Поэтому личную свою жизнь он тщательно скрывает. Он живет неподалеку от Кремля в громадном доме в Шереметевском переулке. Занимает там с семьей квартиру в восемь комнат. До самого последнего времени он был одним из самых богатых людей Москвы, зарабатывая громадные деньги бесчисленными статьями и книгами.

Ярославский — уроженец Сибири, еврей по национальности, фармацевт по профессии — принадлежит к старому поколению большевиков. Если вы раскроете советскую энциклопедию, то узнаете, что Ярославский — чуть ли не самый старый член партии. Вы заметите также, что его биография занимает там одно из самых больших мест. Но последнее — вовсе не потому, что Ярославский в самом деле играл большую роль в истории большевистской партии, но только потому, что он был редактором энциклопедии и сам писал статью о себе. Роль же его в партии до 24 г. была ничтожна. Ленин почему то не переносил его, не пи-

тал к нему доверия, решительно отказывался выдвигать его на ответственные посты, от души хохотал, читая его статьи, особенно, когда Ярославский пытался выступать по теоретическим вопросам. Ярославский держался исключительно умением прислуживаться к второстепенным персонажам партийного руководства.

Когда произошла февральская революция, Ярославский некоторое время оставался в Сибири, издавал в Якутске вместе с меньшевиками журнал «Социал-демократ», «который представлял собой образчик предельной политической пошлости и стоял на самой грани между меньшевизмом и захолустным либерализмом». Возглавлял якутскую примирительную камеру, «дабы охранять благоволение демократической революции от столкновений рабочих с капиталистами».

Потом он переехал в Москву. Вошел в состав московского комитета партии. Во время октябрьского переворота играл примерно ту же трусливо-подловатую роль, что Каменев в партийном центре. Был решительно против выступления, боялся его, предлагал во что бы то ни стало добиваться соглашения с меньшевиками и эс-эрами, считая, что большевики сами по себе власти не завоюют и не удержат. Потом он, как и Каменев, покорно приспособился, вошел даже в московский военно-революционный комитет. Но и в нем играл роль соглашателя, возражал против наступления, тормозил его активность.

В дни Бреста он на партийной конференции блокировался, конечно, с большинством — против Ленина.

Сильно выдвигаться он стал с тех пор, как попал в ЦК — как один из «старейших членов партии».

Конечно, играл решающее значение в его назначении в ЦК не сам по себе его партийный стаж, но то, что при наличии этого стажа, он отличался невероятнейшей приспособляемостью и об этом тогдашнему ЦК партии, подыскивавшему как раз в этом смысле подходящих людей для ЦКК, было известно. Но Троцкий прав, говоря: «К своей нынешней роли Ярославский поднялся исключительно по ступеням клеветы на меня». Ярославский оказался очень подходящим орудием в борьбе против Троцкого — и сделан был за это не только членом политбюро, но и теоретиком и историком партии. Троцкий по этому поводу иронически замечал:

— Историю октябрьской революции — «в разбор»! Ленина — «в разбор»! Перенабрать заново историю России за треть столетия. Ярославский — автором, корректором и метранпажем новой сталинской истории! —

И тем не менее: Ярославский никогда по существу против Троцкого не был. Наоборот. Если идеи вообще могли когда либо волновать этого глубоко безидейного человека — то только идеи Троцкого. Если кто либо был когда либо героем его черствой и корыстной души — то опять таки только Троцкий. С Ярославским получилось примерно то же, что и с Кагановичем: материальные житейские интересы, необходимость иметь во что бы то ни стало свой кусочек хлеба с жирным маслом, свои восемь комнат и пр. — заставили его изменить человеку и идеям, которые единственно и вполне естественно были ему по душе.

Но прочтите, что писал Ярославский о Троцком еще в 23 году. Он выпренье и подчеркнуто отмечал

тогда все, что потом стал столь же подчеркнуто отрицать: «глубочайшее дарование Троцкого» и то, что Троцкий — «... один из признанных руководителей самой революционной армии и самой великой революции в мире». А вот, наконец, строки, в которых он описывает Троцкого в молодости. Вчитайтесь:

«... Вероятно многие видели довольно широко распространенный снимок Троцкого, когда его отправляли в первую ссылку в Сибирь: эта буйная шевелюра, эти характерные губы и высокий лоб. Под этой шевелюрой, под этим высоким лбом уже тогда кипел бурный поток образов, мыслей, настроений, иногда увлекавших т. Троцкого несколько в сторону от большой исторической дороги, заставлявших его выбирать или слишком далекие обходные пути, или, наоборот, идти неустрашимо там, где нельзя было пройти. Но во всех этих исканиях перед нами был глубочайше преданный революции человек, выросший для роли трибуна, с остро отточенным и гибким, как сталь, языком, разящим противника, и пером, пригоршнями художественных перлов рассыпающим богатство мысли»...

Это верно, что когда писались эти строки, Ярославский находился в Сибири, далеко от Москвы, его нос поэтому не мог достаточно быстро улавливать направление московского политического ветра, который уже в то время начал дуть против Троцкого. Ярославский, когда писал эти строки, считал еще Троцкого силой — и несомненно ими ставил перед собой и практическую цель: выслужиться перед Троцким. Но только выслуживаясь, так не пишут. Каждое слово этих строк говорит об искреннем преклонении. Троцкий — подлинный герой Ярославского!

И вот, переехав в скором времени в Москву, Ярославский сначала осторожно, как змея из расщелины камня, потом все смелее и наглее начинает жалить Троцкого. Он начинает развенчивать его с таким же жаром, с каким раньше возводил на высокий пьедестал. Но что это доказывает? — Помимо низости и жалкой приспособляемости Ярославского, еще и то, что я хочу подчеркнуть: наличие и тогда и сейчас у Ярославского преклонения перед идеями Троцкого. Эти идеи — его идеи. Именно потому он так резко выступил против него: не только, чтоб выслужиться, заработать положение и хлеб, но и чтобы не оказаться обзвиненным в сочувствии Троцкому. Так часто бывало в истории. Вспомните гонения на евреев в Испании — и роль и поведение некоторых марронов. И еще: как то у Ярославского очень искренне вырвалось — «Троцкий оказался лже-пророком». Вот еще причина злобной кусючести Ярославского: он верил в «пророка», он ждал прихода его царствия — пророк обманул, оказался неудачлив, оказался побежден, покинул и его, Ярославского, среди чужих и враждебных людей и идей...

Во многих отношениях Ярославский, как и Каганович, оказался наследником Троцкого. Он стал, в частности, продолжателем начатой Троцким борьбы с религией в России.

«В числе десятка других работ, которыми я руководил в партийном порядке, рассказывает Троцкий, была анти-религиозная пропаганда». Сталин решил оттеснить Троцкого и от этой работы. И это было первое выдвижение Ярославского. «На руководство анти-религиозной пропагандой был... продвинут Ярославский, кажется, под видом моего заместителя».

Это было еще при жизни Ленина, во время первого его заболевания. «Вернувшись к работе и узнав об этом, Ленин на одном из заседаний политбюро неистово накинулся на Молотова, т. е. в действительности, на Сталина: «Я-ро-слав-ский? Да разве вы не знаете Я-ро-слав-скаго!? Ведь это же курам на смех. Где же ему справиться с этой работой».

Ярославский справился — не по ленински, конечно, но по своему, верно продолжая линию Троцкого. Поддержанный в дальнейшем Кагановичем, он довел дело борьбы с христианством до самых крайних пределов. Преследовались, как никогда, тысячами отправлялись в тюрьмы, ссылались, разстреливались священники, храмы закрывались и сносились, ГПУ все глубже проникало во все щели церковного управления и церковных дел. Надо заметить, что Ярославский был сделан и одним из надсмотрщиков за ГПУ, и аппарат последнего был всецело в его распоряжении. Особо интенсивно велась борьба с православной религией. Это понятно: это был лучший способ уничтожить лицо русской нации, стереть различие меж ней и иностранцем. Русским каждый мог назвать себя, но православным не всякий мог быть. Вероисповедный признак играл большую роль в России: православие определяло русскость.

Между прочим — не практическими соображениями, но именно борьбой с религией, стремлением уничтожить русские исторические ценности, объясняется снос храма Христа Спасителя в Москве. Место для нового дома Советов можно было найти иное. Идея постройки грандиозного здания для правительства, в котором могли бы быть объединены все правитель-

ственные органы, была ведь еще при Ленине — и я не раз присутствовал при разговорах об этом. Предполагалось снести все дома против Кремля от Моховой до Театральной площади — и по этой линии и строить новый дом. От этого, конечно, Москва только выиграла бы, ибо постройки, предназначенные тогда к снову, ничего собой не представляют, обычные доходные дома. Но о сносе храма Христа Спасителя при Ленине речи не было, как не сносили при нем и Иверской часовни, и памятника Минину и Пожарскому и многого иного, что сейчас снесено и разрушено в Москве и других городах России. Но Ярославским нужно: стереть с лица земли все, что напоминает о национальной, об исторической России — так же, как они стерли уже отовсюду самое имя: Россия. Еслиб можно было — они снесли бы и Кремль.

В своей борьбе с религией Ярославский дошел в конце концов до таких крайностей, возбудил такое острое недовольство в народных массах, в том числе и в рабочей среде, что вынужден был смягчающе вмешаться сам Сталин.

Когда началась борьба с правыми, Ярославский, как и Каганович, с еще большим рвением набросился на них. И эта борьба окончательно сделала его «большим человеком». До тех пор теорию партии главным образом определял Бухарин и его русская молодая школа. И вот они оказались разгромленными, их учение — ересью. Ярославский стал «теоретиком» партии, непогрешимым знатоком и истолкователем Ленина, его биографом и историком. Он собрал вокруг себя группу «молодых теоретиков» и «историков»: Слуцкий, Рубин и др. Его усиленно поддерживал в

этом Каганович. По мере сил стал помогать ему показавшийся друг Троцкого, Радек. Все издательства, газеты, школы, театры, вся культурная жизнь страны, оказались в конце концов в руках людей Кагановича и Ярославского. Всюду русские имена стали отходить на второй план. Партийная русская интеллигенция оттеснялась — для этого в руках Кагановича был партийный аппарат, в руках Ярославского аппарат ЦКК; беспартийная отправлялась в тюрьму. Были взяты под подозрение даже такие маститые большевики, как историк Покровский. Всюду началась — потихоньку, под сурдинку, контрабандой — реставрация идей и настроений троцкизма.

Это вызвало в конце концов резкую реакцию в русском большинстве партии. Оно стало давить на Молотова, через него на Сталина. Сталин понял, что идет опасная и для него игра. И вот внезапно — несколько месяцев назад — он выступил против «троцкистской контрабанды» — против Ярославского, Радека, Луначарского, против их Рубиных и Слуцких и пр. и пр. Но Сталин дал своеобразный и характерный для него оттенок своему выступлению: он дал понять, что отныне он только и никто иной является «теоретиком» партии. До сих пор были: Маркс (Энгельс давно выброшен) и Ленин. Теперь к этим двум прибавилось третье имя: Сталин. Отныне изречения и мысли Сталина столь же авторитетны и непогрешимы, как избранные мысли Маркса и Ленина. «Марксизм-ленинизм-сталинизм» — таковы вехи развития большевистской мысли на сегодняшний день.

Сталин, помазавшись таким образом в первосвященники партии, достигал многого. До сих пор вся партийная линия, как цементом, скреплялась изрече-

ниями Ленина. Но их можно было толковать и так и эдак. И с ними можно было выступить и против Сталина — что до некоторой степени иначали делать Ярославский, Радек и др. Сейчас только Сталин — либо его люди по его указаниям и поручению — имеют право толковать Ленина. Но изречения Ленина теперь уж не так и обязательны. Ленин умер давно, не мог всего предвидеть. Но есть его заместитель на земле, Сталин. И все, что он говорит, так же свято, как все, что говорил Ленин. И он может свободно выправлять Ленина, как выправлял бы на основании нового опыта Ленин сам себя. Но только он!

Положение Ярославского сейчас пошатнулось. Каганович — его основная в последнее время опора — оказался верен себе: согнулся при первом ударе кулака сильного. И сейчас провинциальный ремесленник Каганович начинает перекраивать с таким трудом сшитый им для партии троцкистский костюм. Может быть, скоро ему придется совсем переворачивать его: слева направо. Ничего не поделаешь. С заказчиком надо считаться — особенно, если заказчик этот Сталин. Каганович любит жизнь. Каганович хочет пить и есть. Троцкого он уважает, но следовать его дурному примеру не хочет.

Идет новая работа: новое очищение партии от троцкизма. Ярославский оказался тем лацканом, который надо срывать и в лучшем случае перелицовывать. Но если понадобится — его не задумаются выбросить и вон. Он стоит сейчас на той наклонной плоскости, которая приводит людей партии в его учреждение, в ЦКК, — только через другие двери: через те, что ведут к исключению, к аресту, к тюрьме. Ярославского обвиняют в фальсификации истории партии

в угоду... Троцкому. Он кается, изворачивается, протаптывает все передние, отрекается от всего, что говорил и писал, обещает писать совсем наоборот. Возможно, что на некоторое время он еще задержится, не упадет. Но надолго ли? — История идет дальше — и новой ее полосе Ярославские, конечно, не будут уже нужны.

XXXI.

Глава политической полиции — председатель ГПУ Менжинский. Своеобразная и характерная фигура для того месива натур и национальностей, из какого составлена нынешняя правящая Москва.

Большое, ненормально-полное, расплывшееся тело; развинченая походка; поникшие широкие плечи; болтающиеся руки; блуждающие и с каким то отсутствующим взглядом глаза... Он с первого же взгляда производит впечатление больного человека. Впрочем, он и в самом деле болен: у него что то не в порядке со спинным мозгом. Поэтому он старается как можно меньше двигаться, обычно лежит или полулежит. Он, несомненно, болен и внутренне.

Он из хорошей польской, обрусевшей семьи. В квартире его сестер, в Кремле, на письменном столике вы можете увидеть карточку пожилого мужчины с умным и породистым лицом в форме русского адмирала — это его отец. Много прирожденного аристократизма и в сыне: в высоком лбе, в общей посадке головы, в манере держаться. Но все как то слишком смягчено и

расплывчато. Человек без стержня. Дегенерировавшим аристократизмом — и именно им, возможно, обусловлены многие странности и слабости его натуры.

Его отец, умирая, ничего, кроме имени, фамильных сувениров, хороших манер, семье не оставил. Две сестры Вячеслава Менжинского — Людмила и Вера — стали учительницами в Петербурге. У них в свое время скрывались многие революционеры. В их квартирке часто велись ожесточенные теоретические споры — обсуждались и практические дела. Во время революции обе сестры проделали немалую работу по организации советской школы. Одна была даже замнаркомпросом, другая ведала средними школами. Внесли в свою работу много убежденной пылкости, много сентиментальной уверенности в том, что революция во всех своих проявлениях есть абсолютное благо; много суетни и беспредметных разговоров; но вместе с тем немало и пользы, — их прошлая жизнь научила их и уменью практически работать. Сейчас обе они со своим устаревшим для нашей жесткой эпохи идеализмом оказались ни к чему, не у дел, в архиве. У дел только брат — тот, который всю прошлую свою жизнь был постоянно не у дел.

Вячеслав Менжинский получил прекрасное образование. Массу читал. Знает иностранные языки. Одарен. Умеет говорить: неясно, беспредметно, но зато красиво и остро — парадоксально. Увлекался в свое время философией. Писал стихи: болезненно-извращенные. Был кумиром сестер и маленького круга близких знакомых. Все, что он говорил там, воспринималось, как проповедь пророка. Но вне семьи он успеха не имел. И долгое время был и в революционном движении и вне него ничем. К революционному

движению примкнул давно — еще в 1902 г. —, путался в разных кружках, твердых взглядов никогда не имел. Одно время примыкал к Ленину. Но ясная и твердая целеустремленность последнего оказалась ему не по душе. Он отошел, примкнул в Горькому и Луначарскому, стал как они, богоискателем, вместе с ними участвовал в создании «партийной школы» на Капри. Ленина сильно в то время поругивал, называя фантастом и изувером. С революцией вернулся в Россию — после десяти лет эмиграции. Он и прежде плохо знал страну и ее народ. Сейчас был еще больше оторван. Растерялся в водовороте революционного потока — и, чтоб найти опору, вновь сомкнулся с большевиками, поплелся за ними — и вместе с ними пришел к власти.

В первом революционном правительстве он был народным комиссаром финансов. Но недолго. Как ни фантастичны были тогдашние советские финансы, они все таки были слишком делом для него. Некоторое время потом путался у формирования красной армии. Бросил и это. Когда был подписан Брестский мир, и большевики отправили посольство в Берлин, он поехал туда генеральным консулом. Работал мало — больше наблюдал странную жизнь Берлина того времени. И делал первые шаги по пути к будущей своей работе: усваивал азбуку военно-политического шпионажа и пропагандисткой подрывной работы. В этом деле, сверх ожиданий, он оказался на месте. У него была тонкая интуиция, помогавшая ему проследживать нити, которых не замечали другие — люди реальных дел; ощущать то, чего нельзя было ни предвидеть, ни постичь разумом.

Советское посольство выслали из Берлина. Вячес-

лав Менжинский вернулся в Кремль. Поселился временно у сестер: он не имел еще ни должности, ни квартиры. Я часто наблюдал его тогда, заходя по вечерам к его сестрам. Он лежал обычно на мягком старинном диване в маленькой сводчатой комнате «фрейлинского корпуса» — и охотно беседовал на любую тему. Я был молод — революция преломлялась в моем мозгу сквозь призму молодой фантастики. Но в этом человеке с уже седеющими висками иррациональной фантастики было еще больше...

Его соотечественник и друг, Дзержинский, предложил ему работу в ВЧК — матери ГПУ. Менжинский подумал — и согласился. Ему дали особый отдел, т. е. политическую полицию армии. Из всей работы ВЧК это была тогда, пожалуй, самая страшная. Не один человек сошел с ума на этой работе. Шла гражданская война. На фронтах и в тылу армий людей расстреливали десятками тысяч. Эта работа оказалась самой подходящей для Вячеслава Менжинского. Его интуиция прощупывала больше и глубже, чем точный разум других. По неуловимым признакам он распутывал нити военных заговоров. Иногда он ошибался — заговоры существовали только в его фантазии. Людей тем не менее расстреливали. Разве можно было сказать в то время и на той работе — где действительность, где фантазия, где просто кошмар. Все сливалось.

Он не видел тех людей, которых убивал. Черную работу уничтожения проделывали другие. Он же сидел в своем покойном кабинете, перелистывал бумаги, на которых не видно было крови, хотя бы они и говорили о смерти. Вчитывался, вдумывался, комбинировал, плел сеть предположений, набрасывал списки имен, подписывал четко и без дрожи приговоры. Все

это были одни абстракции — вроде путанных образов его поэзии. Иногда он и лично допрашивал наиболее важных людей. Всю свою мягкость культурного человека, всю тонкость изощренного поэта и философа он вкладывал в эти допросы — и разрешал в конце концов почти всегда безошибочно самые путанные психологические загадки, прощупывал допрашиваемого насквозь. Он отсылал его. Дальнейшее делали другие. Но для него этот человек переставал существовать с того момента, как за ним закрывалась дверь его кабинета. Он понял его. Чего же больше?

После довольно долгого перерыва я как то встретил его. Он имел молодую жену, прекрасную квартиру и «интересную» работу, в которой, наконец, нашел себя. Он был доволен. Он весь как то окреп, помолодел, стал увереннее — и стал как то реальнее. Он не беседовал уже на отвлеченные темы. Он предпочитал говорить о своей «работе».

При нем был секретарь. Маленький, юркий, услужливый, с энергичным и жутким лицом. Ягода. Кто он, что он — никто в точности не знал. Он был частицей той волны новых безвестных людей, которую выплеснул с революцией в государственный аппарат России западный край, черта оседлости. Не то литовский, не то польский еврей. Как будто ремесленник по профессии. Но он женился на племяннице Свердлова — всесильного тогда помощника Ленина. Это сделало его своим, доверенным человеком. К тому же он был так предан, так предупредителен. Когда Менжинский садился в автомобиль, он укутывал его в плед, как родное дитя. Никогда не позволял себе сам сесть с ним рядом — всегда примащивался возле шоф-

фера. Если все-таки его сажали внутри автомобиля — он не сидел прямо, но бочком, на краешке.

Свердлов, впрочем, скоро умер. Но звезда Ягоды не закатилась. Наоборот: из уважения к памяти покойного «вождя», его стали еще сильнее выдвигать. Он стал постепенно ближайшим помощником Менжинского — а фактически руководителем особого отдела. Не будь Ягоды — Менжинский запутался бы в своем огромном аппарате. Но Ягода взял аппарат в свои руки, оказался прекрасным организатором: ввел всюду строгий порядок, рационализировал даже дело разстрелов. Менжинский мог спокойно сидеть в своем кабинете.

Менжинский стал потом заместителем председателя ВЧК. Ягода — управляющим делами, фактическим организатором всего аппарата политической полиции. Одновременно его стали использовать, чтобы навести порядок и в других учреждениях. Он был одно время управляющим делами Наркоминдела. Потом — Наркомвнешторга. Жесткий, сухой, неразговорчивый, требовательный и к себе и к другим, настойчивый, аккуратный — он, действительно, наводил порядок, — такой, что все вокруг начинали стонать и бежали с жалобами к Ленину, в совнаркоме. Ленин слушал, улыбаясь. Он тоже уже знал Ягоду. Ягода был нужен.

Продвигаясь к верхним ступенькам власти, Менжинский неожиданно проявил в себе и способности царедворца. Он оценил власть и то, что она дает — он хотел остаться при ней во что бы то ни стало. А для этого надо было принять участие в интригах кремлевского двора. Надо было суметь своевременно поставить ставку на сильного. Ленин мог умереть. Надо было угадать, кто будет его наследником.

Менжинский решил вначале, что это будет Троцкий. «Он явился ко мне в вагон с докладом по делам особых отделов в армии, рассказывает Троцкий. Закончив с официальной частью визита, он стал мяться и переминаться с ноги на ногу с той вкрадчивой своей улыбкой, которая вызывает одновременно тревогу и недоумение. Он кончил вопросом: знаю ли я, что Сталин ведет против меня сложную интригу? — Что-о-о! спросил я в совершенном недоумении, так как я был далек тогда от каких бы то ни было мыслей или опасений такого рода. — Да, он внушает Ленину и еще кое-кому, что вы группируете вокруг себя людей специально против Ленина... — Да вы с ума сошли, Менжинский, проспите, пожалуйста, а я разговаривать об этом не желаю. Менжинский ушел, перекосив плечи и покашливая. Думаю, что с этого самого дня он стал искать иных осей для своего круговращения».

Менжинский поставил на Сталина — и не ошибся. Вскоре стал вопрос о том, кому быть заместителем Дзержинского. Со своим прежним заместителем, Уншлихтом, Дзержинский разошелся... «Он, рассказывает тот же Троцкий, не находя другого, выдвинул кандидатуру Менжинского. Все пожимали плечами. — Кого же другого? оправдывался Дзержинский: неко-го! — Но Сталин поддержал Менжинского. Сталин вообще поддерживал людей, которые способны политически существовать только милостью аппарата. И Менжинский стал верной тенью Сталина в ГПУ. После смерти Дзержинского Менжинский оказался не только начальником ГПУ, но и членом ЦК. Так на бюрократическом экране тень несостоявшегося человека может сойти за человека».

Ягода стал официальным помощником Менжинского. Другим его помощником долгое время был Трилиссер. Оба и стали фактическими руководителями ГПУ — по мандату и по заданиям ЦК партии, т. е. Сталина. Менжинский все больше отходил на роль декорации. Тем более: умерла на операционном столе его молодая жена. Это его окончательно надломило. Сейчас он больше, чем когда либо, только тень человека.

Трилиссер — очень умный и интеллигентный еврей — в конце концов именно этим своим умом стал неугоден в ГПУ: его перевели в ЦКК. На его место был назначен Мессинг — когда то председатель московской ЧК, в самые жуткие ее времена. Но и он усидел недолго. Сейчас первый заместитель Менжинского — Акулов, невидный, но честный и послушный власти человек.

Уменьшилась последнее время и роль Ягоды. Его заподозрили в тайном сочувствии и даже в связи с какими то оппозиционными течениями. Сейчас подрезаны крылья и у него. Аппарат ГПУ еще больше, чем прежде, обезличен.

XXXII.

Первым министром иностранных дел октябрьской революции был, как известно, Троцкий. Но он мало чем себя в этой должности проявил, кроме как переговорами в Бресте — и пробыл на ней всего четверть года. «Комиссариат иностранных дел, писал впо-

следствии Троцкий, означал для меня в сущности освобождение от ведомственной работы. Товарищам, которые предлагали мне свое содействие, я почти неизменно рекомендовал поискать более благодарного поприща для своих сил. Один из них впоследствии довольно сочно передавал в своих воспоминаниях беседу со мной вскоре после того, как сформировалось советское правительство. «Какая такая у нас будет дипломатическая работа? — сказал я ему, по его словам, — вот издам несколько революционных прокламаций к народам и закрою лавочку»...

Но работа в дальнейшем оказалась значительная. — Лавочка разрослась, обратилась в громадное учреждение. По уходе Троцкого фактическим министром иностранных дел стал Ленин, комиссариат иностранных дел стал отделом ЦК партии — «гибким соединением советского с партийным». Формальным министром иностранных дел, фактически — секретарем по иностранным делам у Ленина, руководителем его иностранной канцелярии, с большими, правда, полномочиями и весом, стал приехавший из английской тюрьмы Чичерин.

Он не у дел сейчас. Но он и его работа — это яркая страница революционной истории. На ней стоит остановиться.

...Еслиб не революция, еслиб не Ленин — вряд ли Чичерин хоть сколько нибудь был известен в мире большой политики. Канул бы бесследно в человеческом море — маленький, отставной чиновник старого министерства иностранных дел, домашний дипломат «ничтожной» эмигрантской группы, погрязший в ее сплетнях и беспочвенных спорах. Его жизнь не вошла бы в историю даже в виде забавного анекдота: кого

интересует оригинальность неизвестных людей? — ее не замечают. Ленин и революция дали ему положение и имя министра иностранных дел громадной страны в огромную историческую эпоху.

Он не сам создал свое положение. Не стремился к власти, не вгрызался в нее хищными и крепкими зубами, не карабкался упорно и настойчиво по ее ступенькам, сталкивая и давя других, — как это делали тысячи. Еслиб не Ленин — Чичерин, возможно, и сейчас еще тихо сидел в каком либо из бесчисленных советских архивов, копался бы в грудах пыльной старой бумаги, незаметно бы там сгнивал. Но властная рука Ленина взяла его за шиворот, вытащила из неизвестности, посадила в кресло министра иностранных дел. От этого, может быть, личная жизнь Чичерина стала труднее и короче. Он быстро израсходовался. Но зато весь мир узнал его имя. Он стал наряду с крупнейшими людьми современности. Ленин не ошибся в своем выборе.

Что заставило Ленина выбрать именно Чичерина? То, что он был когда то чиновником царского министерства? — Вряд ли. Чичерин был там слишком маленьким человеком — и никогда не имел ничего общего с настоящей дипломатической работой. Имя? То, что его отец был Чичерин, а мать — графиня Чапская? — Это безусловно играло роль. Ленин умел ценить значение имен и связей. Именно потому он всегда поддерживал и защищал Красина — за его связь с иностранным деловым миром. Имя Чичерина должно было облегчить связь с внешним миром — и было уже живой связью с исторической Россией. Западу оно должно было импонировать, в России — щекотать национальное самолюбие. Такой же игрой на нацио-

нальном самолюбии было в свое время использование имени Брусилова, открыто выступившего на стороне советов в эпоху польской войны. И это действовало. Мне часто приходилось встречать выходцев из рабочих и крестьянской среды, стопроцентных коммунистов и пролетариев, которые с довольной улыбкой говорили:

— Чичерин? — Это особ-статья... Чичерин — белая кость... И с нами.

Но само собой разумеется не имя решало. Решали свойства чичеринской натуры.

Он не был никогда человеком действия. Никогда не умел властной рукой руководить людьми и делами. В реальной жизни он был мягок, как воск, робок, как курица, слаб, как ребенок.

Он не знал живой жизни — и боялся ее. Он был в подлинном смысле слова «человек не от мира сего». Не в смысле какого либо аскетизма, нет. Волнуясь и капризничая, как нервная женщина, мог он рыться в заграничном магазине в горах галстуков, жилеток, модного белья, выискивая что либо самое новое и самое оригинальное. Плохо повязанный галстук мог расстроить его сильнее любой дипломатической ноты. Любил все красочное: тряпки, побрякушки. Любил производить эффект. Радовался, как ребенок, когда кавказцы на съезде советов в Тифлисе поднесли ему свой национальный костюм. Охотно щеголял в пестром бухарском халате. На военной форме, которую тоже носил больше из кокетства, всегда подвешивал упраздненный бухарский орден — и, вероятно, в душе жалел, что не имеет других орденов, что не может завесить себя радугой ленточек и сиянием звезд, как какойнибудь заграничный «генеральный консул». Долгими

часами, не утомляясь, мог слышать острые сплетни и скандальные анекдоты — довольно посмеивался при этом тихим смешком. Всегда был не прочь оказать честь хорошему вину, рябчику, курице под какимнибудь необыкновенным соусом, грибам в сметане. Но вряд ли когда он срывал виноград с живой лозы, вряд ли в жизни отщипнул хоть один живой гриб, вряд ли видел живую курицу — а еслиб увидел, то вероятно растерялся бы и не знал, что предпринять с этим странным зверем. Словом: он не отказывался от жизненных благ, но всегда предпочитал препарированное живому, неодушевленное дышащему. Исключением была только старая кошка, его единственный друг и любимец, с которой он от души беседовал по ночам, разыгрывая собственные композиции на пианино. Вроде этой кошки были и те привычные люди, что двигались вокруг него. Они тоже включались в абстрактный мир его жизни. Но они были всетаки менее приятны, чем кошка: они говорили, они имели какие то свои мысли, которые излагали живым и часто грубым языком. Он старался поэтому ограничить свое общение с ними. Гораздо лучше, когда человек излагает свои мысли на бумаге. Бумага спокойнее, не движется, не говорит. Он предпочитал бумагу. Каждое утро разносили по Наркоминделу и другим учреждениям толстые пачки чичеринских записок, отстуканных машинисткой под его диктовку в ночные часы на тонкой—тонкой папиросной бумаге. Все записки одного образца: «Уважаемый товарищ»... и внизу тонким, мелким, куриным почерком: «Георгий Чичерин».

Иногда в такой записке было всего несколько слов: вопрос, напоминание. Иногда это бывал целый поли-

тический трактат — со справками, с ссылками. Особенно любил он прибегать к этим запискам, когда надо было кому либо сказать неприятность — а мужества высказать это лично, на людях или с глазу на глаз не было. Причем часто такую записку он адресовал кому нибудь другому, а тому, кого она ближе всего касалась, посылалась только копия. И он не прямо выступал, но шел окольными путями: «некоторые полагают... как я слышал, некоторые говорят»... Ему отвечали обычно тоже записками — часто писали огромные, многостраничные донесения. Он обдумывал их в ночной тиши — а утро опять приносило его записочку в ответ. Многие ответственные работники его комиссариата не видали порой Чичерина неделями — но зато ежедневно разговаривали с ним записками.

Новых людей вокруг себя он не переносил. Это были для него подозрительные и опасные существа. Он не знал, как надо с ними держаться, что они думают, чего хотят. Разве есть уверенность, что кто либо из них не подослан ГПУ, ЦК партии или ЦКК, чтобы следить за ним? Он панически боялся слежки за собой. И, например, огромного труда стоило добиться от него разрешения на ремонт или починку чего либо в его квартире. А вдруг рабочие что либо там подложат: микрофон... аппарат для улавливания мыслей... ГПУ на все способно.

Конечно, в огромной машине комиссариата люди менялись непрерывно: одни уходили, другие приходили. Но Чичерин жизни всей машины, обслуживавшей его, не знал. Он жил замкнуто в углу здания, занятом его квартирой, кабинетами и секретариатом, в окружении ограниченного числа людей. Когда раз

или два в год он решался по какому либо делу пройти по длинным грязноватым коридорам своего учреждения в тот или иной отдел — он шел быстро и осторожно, с любопытством и пугливо озираясь по сторонам: для него это было, вероятно, чем то вроде путешествия по девственному лесу, полному опасных сюрпризов. Если новый человек появлялся в его ближайшем окружении, и если он вынужден был его терпеть, так как он был прислан ЦК партии, — он долго делал вид, что не замечает его, не имеет в нем потребности. Мог привыкнуть и сделать «своим» не раньше, чем года через два. Если новый человек был того уровня, с которым считаться по советским понятиям не приходится, — напр., машинистка — которого нет надобности поэтому, скрепя сердце, терпеть, — Чичерин немедленно бежал к своему секретарю и тонким голосом кричал:

— Уберите, пожалуйста, эту дуру... Она совершенно не умеет работать.

И показывал письмо с тьмой ошибок и искажений — которые сам же он при диктовке сознательно допустил. — Он был очень изобретателен, когда нужно было отделаться от нового человека.

Кругом текла и шумела жизнь — примитивная, циническая, обнаженная, грубая, почти лишенная каких бы то ни было смягчающих звуков жизнь революционной эпохи в полуазиатской стране. Ничто в ней не подходило мечтателям и тихим фантастам. Особенно громко стучали грузовики по избитым мостовым, люди проходили особенно шумным шагом, говорили громко и грубо. Мягкие манеры, приглушенные голоса — все это исчезло из жизни, подобно блестящим витринам магазинов роскоши и бархатному шурша-

нию резиновых шин собственных колясок. Те, кто имели прежде белые перчатки, должны были снять их, входя в революцию — те, кто не сумели приспособиться, тихо доживали безрадостную жизнь за закрытыми дверями уплотненных квартир, скорбя о прошлом, глядя испуганными глазами из за занавешенных окон на новый, чужой и непонятный мир. На поверхность вышли твердые мускулы, мозолистые руки и души, сильные чувства — фантастика действия, не не тихой мечты. Право уступило место силе, убеждение — приказу. Каждое окно напоминало решетку тюрьмы. На каждом углу висели слова ненависти, мести и площадная брань. У стенки каждого дома мог быть расстрелян человек. Окруженный этой действительностью — Чичерин жил не замечая ее. Почти безвыходно сидел он в своем рабочем кабинете, бесшумной тенью скользя на мягких туфлях по его коврам. Из окон этого кабинета было видно одно из красивейших и страшнейших зданий Москвы: дом, в котором жил когда то граф Ростопчин, который видел еще Наполеон, и в котором революция поместила своих палачей — московскую ЧК. Но Чичерин никогда не смотрел в окна. Окна были обычно завешаны плотными занавесками — и жизнь улицы проникала сюда заглушенными, ирреальными тонами.

Он жил и работал по преимуществу ночью. В восемь утра ложился спать, вставал в час — в два, под вечер еще отдыхал, чтоб потом просидеть всю ночь напролет. День был для него самым тягостным временем: нервирующий свет, беспокоящие звуки, собрания с незнакомыми и подозрительными людьми, заседания коллеги комиссариата, заседания политбюро. Ночью все входило в нормальную колею. Приходили

только те люди, которых он знал, вызывал, а если порой заглядывал и кто либо незнакомый, то и он, в приглушенном свете электрических ламп, среди молчания укутанных в мягкие ткани стен, казался тоже частью этого изолированного мира, почти «своим». Ночью Чичерин мог работать, мог вести душевные разговоры, обсуждать интересные вопросы. Мысль, не рассеянная ничем, работала ясно и продуктивно.

Редко показывался Чичерин на улицах. В заседания в Кремль и обратно его приносил старый, спокойный, закрытый, с приспущенными занавесками, Кадиляк. Чичерин не смотрел по сторонам, погруженный в собственные мысли. Вечерами он отправлялся в том же Кадиляке в какуюнибудь из иностранных миссий. Но врачи требовали, чтобы он гулял, дышал свежим воздухом. Это не было приятно, но врачам надо подчиняться. Он садился все в тот же мягкий, со всех сторон закрытый автомобиль, закутывался в плед, тщательно повязывал теплое кашне — и ехал куданибудь за город. Останавливался в какомлибо уединенном месте, выходил минут на десять, ходил мелким сосредоточенным шагом вокруг автомобиля — и ехал обратно. По воскресным и праздничным дням он топтался с полчаса вокруг здания комиссариата. Пользовался тем, что там пусто, никого нельзя встретить. Обычно даже в летние дни на нем было плотное пальто, теплое кашне, калоши и зонтик в руках. Чуть только он замечал чьелибо знакомое лицо, как скрывался в подъезде.

Кроме книг, газет, бумаг, интимной беседы за чашкой чая и рюмкой коньяку, его единственным развлечением были дипломатические приемы. Там собиралось много народу — и вместе с тем это не была

жизнь, это был больше какой то театр. Необычная для революционной Москвы чистота и обстановка домов, шелк и позолота на стенах, на мебели, необычные одеяния, фраки, смокинги, блестящие груди рубашек, шелк дамских платьев, острые духи, иностранная речь, танцы... все это так расходилось с подлинной жизнью Москвы, России... К тому же обычно эти приемы происходили вечером, при искусственном свете электричества — и они казались поэтому Чичерину продолжением его собственной ирреальной жизни, его квартиры, его кабинета, только в больших размерах, с большей роскошью. Там была его рабочая и интимная жизнь — здесь его развлечение. И люди, собиравшиеся здесь, были все ему знакомы — и он видел в них не столько людей, сколько шахматные фигуры своей абстрактной игры. Здесь он был центром всего — и он это знал и смаковал. Оживал. Старался войти в зал возможно более эффектно, в самый неожиданный момент, чтоб сразу внимание всех обратить на себя. Немного позировал. Старался всем показать, какой он интересный и примечательный человек. И действительно он был интересен — возбужденный, несколько опьяненный и окружающим всем и неизбежным вином. Когда все уже расходились, он часто оставался с хозяином дома и до рассвета вел разговор. В таких разговорах он делал порой самые блестящие свои дипломатические шаги.

Так жил он: в беспокойно-шумном городе, среди примитивной жизни и людей революционной эпохи, не замечая почти ни этого города, ни времени, ни людей. Русскую страну он видел сквозь зеркальные стекла вагон-салона.

... Ночь. Тишина. За огромным, покрытым темно-

красным сукном, столом, за которым днем заседает коллегия, в жестковатом красного дерева старинном кресле сидит Чичерин: без пиджака, без жилетки, на ногах мягкие туфли. Тут же в комнате стоит у дверей, неподвижно вытянувшись, часовой. Чичерин его не замечает, он не мешает ему: привычная фигура, она относится к обстановке комнаты. На столе груды бумаг, книг, газет. Рядом еще две комнаты: маленький кабинет и комната архива, где на огромных во всю стену полках бесчисленные папки с бумагами... опять книги, журналы, газеты. Тихий, как мышь, скользит там разбирающий, достающий необходимое секретарь. Тоже свой человек. Его тоже Чичерин не замечает.

Резолюции политбюро. Сообщения ГПУ, Коминтерна. Донесения послов и чиновников Наркоминдела. Записи перехваченных разговоров. Дипломатические ноты. Архивные справки. Книги, журналы, газеты. Впечатления от собственных разговоров. Все это перерабатывается в мозгу Чичерина, обращается вначале в пестрое месиво, потом принимает все более ясные формы, освещается его громадными знаниями, сплетается его глубокой логикой в стройную нить фантастических, но глубоко жизненных комбинаций советской внешней политики, — комбинаций, которые так ценил и понимал Ленин.

Иной человек, живой, не замурованный в этом кабинете, живущий в мире реальностей, но не в этой лаборатории алхимика XX века, не смог бы так мастерски разобраться в путанных ходах политики той поистине фантастической эпохи. Иной человек очень быстро вступил бы в противоречие с самим собой, со своим здравым рассудком, с азбукой коммунизма, с

партийными уставами и постановлениями. Ведь советская действительность — это одно, советская внешняя политика — нечто совершенно иное. Разные миры, разные понятия. И только такая тонкая рука, только такой своеобразный мозг, как чичеринский, мог найти соединительные звенья — и невозможное сделать возможным. Ленин знал это — потому то он и взял Чичерина своим помощником, потому и поручил именно ему пробивать окно в Европу для коммунистической России.

Внутри советской страны все ясно и просто: долой капитализм, смерть буржуям, грабь награбленное, бей и добей «белых», топи иностранцев в море.

Но вне страны не все так просто. Там надо создать, завязать сношения с тем же капитализмом — потому что там капитализм и буржуи еще живы, еще мощны, мечта о мировой революции только мечта. Надо разбить удушающую броню блокады, надо обеспечить возможность закупок необходимых вещей, продажи для товаров и золота страны, надо добиться прекращения поддержки иностранной буржуазией белого движения, надо добиться формального признания революционной власти со стороны сильнейших держав, надо заполучить известное доверие, иметь кредиты, техническую помощь.

В декларациях говорится: долой тайные договоры. Но на практике разве можно вести политику государства без тайных договоров? Разве не единственный способ выбиться, чего то достигнуть — это играть на разобщенности интересов мирового капитализма, отдельных его стран? Разве можно эту сложную игру вести открыто?

На бумаге — долой национализм, всякий национализм, мы интернационалисты, граждане всего мира. Но на деле вся то страна стала только сейчас подлинно националистичной — и правительство революции победило только потому, что оно сумело сыграть на струнках народного национализма. И вот: торжественно объявили и тысячу раз подчеркнули, что рвут с исторической Россией — но жизнь заставляет идти по пути защиты русских национальных интересов, и потому и Чичерин, и Ленин поневоле возвращаются в русло традиционной русской политики.

На Западе — стена из штыков. Только для защиты. Самое большее — для частичного восстановления старых русских границ. Первый шаг здесь возможный — воссоединение с оторванной Бессарабией. Кроме штыков — и это часто вернее — игра на различии интересов великих держав, противопоставление одних другим, надежды на союз даже — в первую очередь с теми, кто разбит и унижен последней мировой войной. Отсюда длинные, ночные, казавшиеся такими ирреальными, но носившие в себе зерна больших планов будущего, разговоры с графом Ранцау...

Но главные задачи — на Востоке. Там масса сложнейших интересов и комбинаций. Целая сеть задач, кажущихся на первый взгляд невыполнимыми, — просто плодом фантазии пылкого романиста. Громадная игра в Китае — на революционных и национальных стремлениях. Присоединение Монголии. Руссификация средней Азии параллельно развитию тамошнего национализма. Все большее проникновение и все большее подчинение своему влиянию китайского Туркестана. Дружба с Афганистаном. Создание базы для движения к границам Индии. Дружба с Тур-

цией. Интриги в малой Азии. Геджас. Ирак. Египет. Завоевание персидского рынка — и усиление политического влияния на Персию. Проникновение со своей пропагандой и влиянием и в Тибет и даже в далекий Индо-Китай. Всюду ставка на национальное пробуждение угнетенных народов, игра на благороднейших чувствах — и вместе с тем поддержка тиранов, честолюбивых и нечестных генералов, интриги, предательство, подкуп, шпионаж, хлопок, нефть, золото, кровь... все сплелось в этой игре. В этой сложнейшей игре Чичерин разбирался так же хорошо, как на клавишах пианино. И играл ее мастерски и с большим воодушевлением. Игра стоила того, чтобы ей отдать жизнь. Но самое главное: в ней было нечто, что удаляло по сокровеннейшим струнам его души, что будило в его крови старые инстинкты и традиции. В далекой перспективе этой игры стоял образ великой России, как снежный ком катящейся в веках — и все увеличивающейся в своем победном историческом шествии. Этой России прежде всего служил Чичерин — как и его предки, первые русские дипломаты.

Порой ради успеха своей игры он почти совсем забывал революционное сегодня — свое и страны. Тогда его выправлял Ленин.

— Я сейчас получил письмо от Чичерина, — писал Ленин членам политбюро в 22 г. накануне генуэзской конференции. — Он ставит вопрос о том, не следует ли, за приличную компенсацию, согласиться на маленькие изменения нашей конституции, именно — представительство паразитических элементов в советах. Сделать это в угоду американцам. Это предложение Чичерина показывает, по моему, что его надо немедленно отправить в санаторию, всякое попусти-

тельство в этом отношении, допущение отсрочки и т. п. будет, по моему мнению, величайшей угрозой для всех переговоров.»

— В каждом слове этой записки, где политическая беспощадность сочетается с лукавым добродушием, живет и дышит Ленин, — замечает Троцкий.

... Умер Ленин. Кончился героический период русской революции. Кончился и романтический размах первой ее дипломатии. Наркоминдел потерял свое бывшее значение. Постепенно сошли со сцены заграничных советских представительств люди калибра Красина, Раковского, Крестинского, Карахана. Перешли на Хинчуков и Довгалеvских. Главную роль заграницей стали играть маленькие агенты. ГПУ и тоже маленькие «красные торговцы». Дипломатическая игра советской страны стала реальнее, мельче и трусливей. Ни прежних взлетов, ни прежних дерзаний. Перестал быть нужным и Чичерин. То, что можно было взять от него, взяли. Чему могли научиться — научились. Высосали, как лимон. И бросили.

Недавно мне рассказывали, что на улицах Москвы был арестован оборванный и пьяный старик. Он что то выкрикивал. Прислушались: ругает последними словами нынешнюю власть. Его потащили в милицию. Оказалось: Чичерин.

Не зная, верно ли это. Думаю: просто анекдот. Чичерин живет сейчас в маленькой квартирке в кооперативном доме Наркоминдела. Ему оставлен его рояль. Вероятно, это единственное его развлечение. Ведь даже мемуаров ему сейчас писать не позволяют. Если он все-таки что либо напишет — немедленно отберут, скроют за замками ГПУ.

Он совсем забыт. Совершенно одинок. Бывшими людьми в советской России не интересуется никто. Может быть, осталась при нем его старая кошка. Пьет он? — Может быть. Что же еще ему осталось? — Разве только мысль, что рано или поздно Россия вспомнит все-таки его имя — хорошим, благодарным словом, как имя одного из немногих подлинно русских людей в революции. Так будет.

XXXIII.

Иного типа человек Литвинов, нынешний руководитель того отдела ЦК партии, который называется: народный комиссариат по иностранным делам.

Сейчас ему пятьдесят шесть лет. За плечами — долгая и нелегкая жизнь. Впереди — неизвестность. Но настоящее таково, о каком не мечталось никогда.

Он родился в Белостоке, в буржуазной еврейской семье. Его настоящая фамилия не то Финкельштейн, не то Валлах.

Двадцати двух лет он, как говорит его биография, «занимался революционной пропагандой в рабочих кружках». Был арестован. Ему грозила ссылка в восточную Сибирь. Но он вместе с десятью товарищами бежал из Киевской тюрьмы.

Как царский строй в целом был много свободнее советского, так был свободнее и режим царских тюрем. В них разрешали многое, о чем и помыслить не смеют сейчас арестанты — особенно политические —

советских тюрем. Разрешалось иметь с воли все, что угодно — даже цветы и вино. Разрешалось во время прогулок заниматься гимнастикой, устраивать игры. Разрешалось справлять именины, причем в угощении охотно принимали участие и тюремные надзиратели.

Одиннадцать политических, решивших бежать из киевской тюрьмы, воспользовались всем этим. В тюремном дворе они «водили хороводы». «Николай Бауман бил в барабан — в жестяную банку. Неожиданно хоровод обрывался и одиннадцать человек выстраивались высокой спортивной пирамидой вышиной приблизительно во внешнюю стену тюрьмы. Однажды один из заключенных получил гигантский букет цветов. В букете лежал якорь... А Бауман все бил в жестянку-барабан. И это был такой звук, будто шевелилась под чьими то ногами жесть на тюремной стене — звук, специально для часовых, чтобы привыкали. А т. Литвинов крутил веревку из тонких полосок тюремной простыни.» «Устраивались еще по всякому поводу именины — это, чтобы приучить тюремных служащих к шуму и к потреблению вина, преподнесенного заключенными.» Достали снотворный порошок — чтобы, когда придет момент, подмешать его в вино служащим. Достали подложные заграничные паспорта. Якорь и свитую Литвиновым лестницу зашили в подушку.

И вот пришел день... Бауман ударил в барабан. Пятница*) принес свою подушку, и под очередной именинный гвалт с пирамиды, на внешнюю тюремную стену взобрался первый беглец. Повисла на якоре лестница. Хрипел часовой с тряпкой во рту. Потом была долгая мука с неправильными адресами,

*) Пятница — Иосиф Пятницкий.

ожидание провала, но пришла всетаки граница Австрии, потом австро-германская граница, потом Берлин...»*)).

Говорят, что план этого дерзкого побега был разработан двумя из заключенных: Пятницким и Литвиновым. Один из них стал в дальнейшем главой Коминтерна; другой — Наркоминдела. Пути их еще раз сошлись.

В годы, когда он перебрасывал гибкие мускулы тела через тюремную стену, он выглядел иначе, чем сейчас. На одной из его ранних фотографий в лице с широким выпуклым лбом много молодого дерзания. Прошло много лет. Когда то упругое тело расплылось. Когда он сидит в кресле или покачивается в мягких подушках автомобиля, то кажется, что тела у него нет, а в широкие складки костюма бесформенной массой налито мягкое, податливое тесто. Лицо залито тем же тестом, обвисло, обрюзгло, губы стали пренебрежительно-отвислыми, будто у хмурого английского бульдога, и только лоб сохранил прежнюю линию, да глаза не затухли, но остро выглядывают из мясистых щелок и говорят, что человек этот жив еще, что работает извилистый мозг, строит планы, может и умеет бороться.

Когда глядишь на него, то не верится, что он мог быть революционером, подпольщиком, мог рисковать свободой и жизнью. У него наружность типичного среднего буржуа. С этой наружностью сидеть бы ему в конторе лондонского Сити за лакированным столом, за справками о биржевых курсах. На дверях бы вывесить ослепительного блеска дощечку: «М. Валлах.

*) Из статьи Е. Кригер «Большевистская Пятница». «Комсомольская Правда», 3 Марта 1932 г. № 52.

Размен—купля—продажа». По праздникам угощать солидных друзей фаршированной рыбой под луковым соусом — и катать в коляске среди зеленых лужаек Гайд-парка розощеких и кудрявых детей. Недаром в числе его многочисленных псевдонимов наибольшей популярностью пользовалась кличка «Папаша». Даже Ленин, когда писал ему письма, адресовал их обычно «Папаше». Так же зовут его теперь за глаза сотрудники его секретариата. Ничего, ничего нет в этом человеке от революции, от пролетариата, от России!.. Но он сидит в Москве — в центре России. В учреждении, созданном революцией. За столом, за которым когда то работали и светлейший князь Горчаков и Сазонов. Перед ним в аккуратных корзинках — справки о курсах мировой революции. «Папаша» читает: «товарищ»... «революция»... «пролетариат».

Что толкнуло его в революцию, к рабочим кружкам, к Ленину, в тюрьму?

Он соприкоснулся с революцией в эпоху, когда революционная волна, после временного затишья, начала вновь подыматься. В кругах русской интеллигенции оживали героические традиции прошлого.

Литвинову было двадцать два года. Его душа не была еще захватана жизнью. Почему же нельзя предположить, что что-то от идеалистических порывов русской интеллигенции бродило и в этой душе?

Кроме того в нем говорил, конечно, мятежный дух его расы. Он был евреем — и родился в России, в стране, где, как нигде, пренебрегали его народом и, как нигде, угнетали его.

Литвинов был сильным и, главное, жадным до жизни человеком. Эта жадность к жизни и была основной движущей пружиной его дальнейшей судьбы.

Он хотел выбиться во что бы то ни стало. Он стремился к хорошей жизни, к деньгам, к известности, к власти над людьми. Сложись иначе обстановка его юности — он все-таки, вероятно, вне всякой революции, ушел бы из России на свободный Запад. Был бы полноправным человеком, играл бы на бирже, торговал кожей, кофе, мукой, — и на этом пути осуществил бы свою жизненную мечту. Но он соприкоснулся с революцией — и это предопределило его путь.

Толстой, кажется, сказал, что революционерами становятся два разряда людей: либо люди крайне высокого морального уровня, которые в иные времена и в иной среде считались бы святыми, — либо люди, стоящие значительно ниже обычного морального уровня, подонки человеческого общества, дегенераты, бандиты, провокаторы. Это, конечно, не верно: в революционной среде, как во всякой, много самых нормальных, самых обыкновенных людей, людей, пошедших в революцию только потому, что так случилось, привела судьба.

Литвинов не святой и не бандит. Он вполне нормальный человек. Он — революционный делец.

Тот слабый налет русского интеллигентского идеализма, что был в его душе в юношеские годы, развеяло первое же соприкосновение с практической жизнью Запада. Он понял и нашел себя. Чтобы удовлетворить ту жизненную жадность, которая пронизывала все его существо, нужны были не мечтанья, не мальчишеские порывы, но дело. Дело с большой буквы. «бизнес» американцев. Причем: для практика, для дельца — всякое дело хорошо, если от него есть польза.

Он не сказал, как многие: «Прочь от революции!» Не ушел только в кожу, только в кофе или пшеницу. Тонким инстинктом прирожденного дельца он понял, что дело русской революции может стать неплохим делом. В случае удачи оно может дать больше, чем что либо другое. И он не ошибся. Те родственные ему души, что ушли от революции после первой же жизненной встряски, потеряли свои дома и деньги и всякую власть над людьми. Он же сидит в министерском кресле и разговаривает с вершителями мировых судеб.

Ленин, узнав его, сразу понял, какой ценной находкой является этот внутренне чуждый революции человек. Мечтателей, теоретиков, писателей злобных трактатов и нудных программ было много в революционных рядах. Людей дела — не было почти, кроме как в массе, в низах. Но то были дельцы иного порядка. Они могли убивать людей, умирать на баррикадах. Но кто даст им организацию, кто вложит в их руки револьверы и бомбы? — Литвинов. Люди его типа.

Литвинов мог и самому Ленину дать хороший совет. В одном из писем «Папаше от Ленина» читаем (1904 г.): «Дорогой друг. Спешу ответить на ваше письмо, которое мне очень и очень понравилось. Вы тысячу раз правы, что надо действовать решительно, революционно и ковать железо, пока горячо». Редко кому писал Ленин полные такой признательностью письма. Но еще реже посвящал кого либо в положение партийной кассы. Литвинову же — в том же характерном для эпохи зарождения большевистской партии письме — он пишет: «Рядовой (псевдоним Богданова) работает во всю, привлек участников, одается целиком сам и всеми силами ищет миллионера

с немалыми шансами на успех... Пожалуйста, укрепляйте у всех веру в нашу организацию... Надо только потерпеть немного еще, пока кончит свое дело Рядовой».

Литвинов в свою очередь знал с кем сплотиться: когда русская социал-демократия раскололась, он решительно и бесповоротно примкнул к большевикам. Там во главе стоял Ленин, понимавший значение практических дел. Там работа не ограничивалась заседаниями, спорами, писанием книжек, брошюр, резолюций. Там упорно работали по подготовке настоящей революции, организовывали комитеты заговорщиков, боевые дружины, там умели поставить дело на широкую ногу; искали и находили миллионеров, там текли деньги и была власть над людьми.

Вот основные вехи «революционного» литвиновского пути.

В 1903 г., вернувшись нелегально в Россию, он заведывал «границей»: переправкой людей, корреспонденции, литературы, оружия. Это была хорошая школа для будущего народного комиссара по иностранным делам.

Весной 1905 г. он участвовал в третьем съезде партии. Делал доклад о вооруженном восстании. Конечно, он был за вооруженное восстание. Разве революция делается иначе?

Летом 1905 г. активно подготовлял возстание: организовывал приемку оружия, заказанного в Англии. Но пароход «Джон Графтон», на котором шло оружие, разбился у финских берегов. Злые языки говорили, что на нем оружия не было — или почти не было, и что именно это и послужило причиной ги-

бели парохода. Литвинова эти толки не смутили. Он продолжал делать дела на революции.

Осенью 1905 г. на деньги миллионеров, сплетавших собственными руками веревку, на которой в конце концов многих из них повесили, Литвинов вместе с Красиным организовывал издание газеты: «Новая Жизнь».

В 1906 г. бежал из России. В 1907 еще раз вернулся туда, но, понюхав воздух, нашел его не по вкусу. Уехал за границу — и если бы не случилось революции, вероятно, не вернулся бы в Россию никогда.

Ибо у него, как и у многих, стали зарождаться сомнения в правильности выбранного пути. Революция была разгромлена. Миллионеры увидели, что и революции не получается — и из революции получается не совсем то, что они ожидали. Их помощь большевикам прекратилась. Партия изнывала от безденежья.

Только выступление Сталина-Джугашвили влияло на некоторое время кровь в иссыхавшие партийные жилы — и задержало Литвинова в рядах у большевиков. Сталин взял несколько литвиновских револьверов, пару друзей и среди бела дня ограбил артельщика Государственного банка. Но номера захваченных банкнот были известны. Тогда Красин, член ЦК большевистской партии, будущий нарком внешней торговли и советский посол в Англии и Франции, раздобыл «специалиста» — и на красинской вилле под Петербургом банкноты были «обработаны»: старые номера вытравлены, проставлены новые. Так препарированные деньги поручили, конечно, реализовать Литвинову. Но по недосмотру некоторые банкноты оказались со старыми номерами, Литвинов был арестован,

посажен во французскую тюрьму — и с большим трудом вывернулся.

Дела шли плохо. Литвинов не выходил все-таки из партии. Выполнял ее поручения. Был даже представителем большевиков при Международном социалистическом бюро. Но сомнения все глубже вкрадывались в душу. А тут настала война. Порвались связи, прекратился совершенно приток людей и денег. Литвинов готов был махнуть рукой на революцию. Усиленно занялся частными делами. Женился. Имел солидный счет в банке. Имел ребенка — и катал его в колясочке по улицам Лондона.

И вдруг — революция. Литвинов — советский посол в Англии. Никем непризнанный — но все-таки посол. Правда, это длилось не долго. Его арестовали. Но в московской тюрьме сидел Локкарт — английский генеральный консул и, как говорили, главный организатор шпионажа и всяких темных дел. Ленич решил, что фигуры Локкарта и Литвинова — равноценны. Лондон согласился с ним. Литвинова обменяли на Локкарта.

Немного жутковато было ехать в Россию: чем еще кончится эта игра? Но выхода не было. Да и слишком уж вкусно пахло из России: властью, почетом, деньгами. Он оставил в Англии семью и банковский счет — и поехал.

Скоро, впрочем, опять оказался за границей: в Копенгагене, Стокгольме, Ревеле. Стал самоувереннее и толще. Время было горячее — дела шли хорошо. Из Ревеля он реализовал золотой фонд российской державы. Потом фонд изсяк — Литвинов поехал в Москву, окончательно победившую. Был посажен в комиссариате иностранных дел — как практическая

противоположность мечтателю Чичерину. Освоился. Выписал семью. Стал протискиваться к креслу наркома по иностранным делам.

В конце концов он добился своего. Не будучи сталинским человеком — он прекрасно подошел Сталину.

У Литвинова никогда не было своих политических идей. Но именно это делает его сегодня самым удобным для поста наркома человеком. Он не возражает, не упрямится, принимает любую линию. А так как сейчас линия взята в знакомом ему по всему его прошлому направлении, и от нее хорошо пахнет дымом восстаний, тюками контрабанды, металлом оружия — то исполнитель, подсобник из него получается прекрасный. Он весь — и внешне и внутренне — удивительно подходит к советской политике сегодняшнего дня. Среда, в которой пришлось ему провести свою жизнь, наложила на него резкий отпечаток. Скупщики краденых денег, тайные продавцы оружия, контрабандисты, сомнительные банкиры, гешефтмахеры разного рода — таковы были люди, с которыми по преимуществу приходилось, да и сейчас зачастую приходится общаться ему. Он усвоил себе их язык, манеры, мышление. Когда ему пришлось столкнуться с дипломатами — он не дал себе труда измениться. Кой чему только подучился. Усвоил технику дела: дипломатическую рутину, начатки международного права. Но внутренне он остался тем же, чем был. И потому и на дипломатов он смотрит так, будто они тоже скупщики краденого, тайные торговцы оружием, гешефтмахеры и контрабандисты — и не больше. Этот взгляд определяет и тон и политику Литвинова. Этот взгляд отталкивал от него таких людей, как граф Ранцау.

Но он как нельзя лучше подходит к грубой и циничней Москве сталинского режима. И он производит большое впечатление и на новейших «дипломатов» Запада.

Счастлив ли этот человек, добившийся так много, как будто? — Не думаю. Полной удовлетворенности и у него нет. И не только потому, что тревожит мысль о будущем: у него ведь трезвая голова, и он яснее кого бы то ни было видит, куда могут привести сталинские эксперименты. Но и в жизни сегодняшнего дня нет полноты. Он стремился к власти над людьми — но каждый собственный его шаг предопределен свыше. Для заграницы — он руководитель советской иностранной политики. На самом деле — только докладчик Политбюро, исполнитель его велений, его секретарь по иностранным делам. Он стремился к обеспеченной, уютной, полной удовольствий жизни. Но он не может себе позволить почти ничего из того, что имеют люди власти и денег заграницей. Ибо весь уклад московской жизни иной — наполнен постным и лицемерным фарисейством. Вся жизнь затиснута в предопределенные партийными цензорами рамки. Даже та относительная роскошь реквизированных особняков и сытной пищи, которая так отделяет его и ему подобных от обыкновенных людей России, и она не радует, ибо и она предопределена, размерена, механизирована, — и к тому же она груба и тяжела, как обеды кремлевской столовой. А у этого человека привычки и вкусы западно-европейские. В глубине души он большой индивидуалист. Серой, убогой России он не любит вообще. Россия же революционная, коллективизированная, казарменно-скучная ему противна. Каждый год, когда наступает весна, он идет в цент-

ральный комитет партии и угрозами, жалобами, компромиссами добивается заграничного отпуска. Это его единственная отдушина. Переезжая границу, облегченно вздыхает: «Вырвался, наконец!». Но и там нет полноты радости. Он, всю жизнь так стремившийся к известности и почету, должен ехать на заграничный курорт не как всему миру известный народный комиссар Литвинов, но как какой то «инженер Максимов из Твери».

И тем не менее он ни за что не откажется от нынешнего своего положения, будет зубами и когтями отстаивать его, стерпит, снесет все, что угодно, лишь бы остаться в своем кресле. Поэтому он даже искренен, когда влетает толстым ангелом мира на сонную трибуну Женевы и говорит против войны. Не потому, что он против войны вообще, не потому, что ему жалко людей, которые от нее пострадают. Такой сентиментальностью он не обладает. Ему в высшей степени безразлична участь всех людей мира — кроме своей собственной и своей семьи. Но именно свою участь отстаивает он, возражая против войны в заседаниях политбюро, выступая против нее в Женеве. Ибо война — он это знает отлично — это потрясения и перемены. Война может означать освобождение и для русского народа. Но что же тогда будет делать он? — Он и национальная Россия — несовместимы. В этом он твердо убежден. Он может быть министром сталинского строя — и никакого больше. Вот почему он против войны. Вот почему он готов отдать все — и Бессарабию, и Дальний Восток, пол-России, — но только сохранить за собой свое место. Он один из самых ярко выраженных пораженцев в составе нынешнего правительства советской страны. Поэтому

ни популярности, ни симпатий в нарождающихся внутри страны и внутри партии национальных силах он не имеет. Наоборот.

XXXIV.

Николаю Николаевичу Крестинскому — первому заместителю народного комиссара по иностранным делам — сейчас под пятьдесят. Но выглядит он еще молодо. На нем благоприятно сказались девять лет пребывания на посту берлинского полпреда — в относительном спокойствии. Он стоял достаточно высоко на партийной лестнице, чтобы под него можно было подкопаться. Из равноценных ему фигур в Москве никто на его должность не претендовал, т. к. крупные люди Москвы на заграничные посты не стремятся: назначение за границу они рассматривают, как ссылку, полуотставку, консервирование вне активной политики. За границу стремится относительная мелюзга, политическим ростом не достигающая и плечей Крестинского. В то же время самому правительству по внутрипартийным соображениям долгое время выгодно было задерживать Крестинского за границей. Положение его было поэтому прочно, как ничье, и ему не приходилось, как маленьким полпредам и руками и зубами держаться за свое место, затрачивать в это значительнейшую часть нервов и сил, кланяться направо и налево, подползать к одним, подминать других конкурентов, трепетать и днем и ночью, что донос какогонибудь мальчика из ГПУ повлечет отзыв

в Москву, немилость, конец сытой жизни и карьеры. Волнения московских партийных интриг тоже задевали Крестинского — особенно последнее время — лишь краем. Жизнь многому его научила, он стал осторожнее — и каждый раз, когда партийная борьба, в которую он ввязывался, начинала принимать опасный оборот, он мячиком выскакивал из ее гущи и тихой мышкой оседал на мягких коврах посольского дворца на Унтер ден Линден.

Там вел размеренный и гигиеничный образ жизни. Был самолюбив — волновался первое время от промахов в дипломатической работе. Но потом основательно усвоил дипломатическую рутину — с каждым годом делал все меньше фопов, все меньше поэтому было волнений и от работы. Сильнее, пожалуй, переживал дела огромной берлинской комячейки, да личные склоки полпредства и торгпредства. Но это не расстраивало, это было даже полезно, как прием горькой слабительной воды, как своего рода душевный моцион. Став чиновником нового режима, Крестинский в глубине души много сохранил от навыков и вкусов подпольной возни революционных партий: любил долгие споры, длинные резолюции, личные дразги, публичное развешивание интимного белья. Все это давала ячейка — и в ее грязновато-душной атмосфере Крестинский расцветал, отдыхал, чувствовал себя по настоящему дома.

Жил относительно скромно. В огромном доме полпредства взял себе с семьей две маленьких спальни, упиравшихся окнами во двор, да небольшую столовую на улицу. Любил зато поесть, немного выпить. Жизнь дипломата давала к тому самые широкие возможности. Привык к общему заграничному комфор-

ту, научился одеваться, следить за собой. Часто советовался с врачами, каждый год ездил для основательного лечения в Киссинген, в другие курорты.

За девять лет такой жизни приобрел внешность самодовольного буржуа большого европейского города. На нем всегда дорогой заграничный костюм, блестящее белье, тщательно выбранный и повязанный галстук. Всегда тщательно вымыт. Небольшие усики над полными чувственными губами и темная острая бородка всегда прекрасно подстрижены. Лицо — продолговатое, с мелкими правильными чертами — округлилось, потеряло былую резкость очертаний. Щеки потеряли свежесть, стали матово-бледными, кое где с прозрачно-желтыми залежами жирка — но зато выхолены, всегда сытно лоснятся. Над темными, тусклыми, почти ничего не видящими глазками — заграничные круглые очки. — Несмотря на эту европеизированную внешность в нем сразу чувствуешь русско-го, притом природно, народно русского, — провинциала и выходца из духовной среды.

Не надо забывать: духовенство наше всегда отличала исключительная чистота русской крови. Русское дворянство сплошь да рядом мешало кровь свою в иноземных браках; верхушка его зачастую и в основе крови была иноземной. Духовенство же русское, в массе своей вышедшее из основного пласта русской нации, крестьянства, было вплоть до самой революции в высшей степени замкнутой — особенно для иноземных влияний — средой, из круга которой редко выходили, где браки почти исключительно совершались среди своих, где сан и должность сохранялись поэтому в семье, от отцов переходили к детям, где пополнение, освежение крови происходило почти

исключительно за счет деревни. В результате созда-лась отборная и очень чистая по крови раса, которая выработала и своеобразный по своей исключительной русскости физиологический тип, которая духовно, на-ряду с низовым дворянством нашим, стала основным выразителем и творцом культурного лица нашей на-ции — и вместе с дворянством до самой революции играла громадную роль, не давая полностью исказить это лицо представителям денационализованной и ин-тернационализованной интеллигентной черни наших столичных и университетских городов. Только духо-венство, между прочим, могло родить такие яркие явления русского культурного прогресса, как Добро-любов, Чернышевский, Победоносцев, — как Толсто-го и Столыпина, напр., могла родить только провин-циальная дворянская среда, а Распутина только кре-стьянство.

Чистоты отборной и беспримесной расы в самом себе — ни во внутреннем, ни во внешнем своем чело-веке — не исказить; кровь не заставить течь иначе, чем она течет. Как ни старается Крестинский стер-еть наложенную на него рождением печать, как ни старается стать человеком иных миров и другой сре-ды, денационализироваться даже — он родился и вы-рос в Вильно, в городе польско-еврейско-литовском, он отрекся от профессии отцов, пошел в университет, стал адвокатом, стал революционером-интернациона-листом; женился не на русской, дочь свою воспитал так, что она, подростки, не знала ни одного русско-го слова, — ничего не получается. С билетом комму-ниста, с идеями интернационалиста, во фраке совет-ского полпреда он все-таки остается по природе тем, чем родился: типичным представителем русского ду-

ховного сословия. И именно типичным — ибо он не исключительный, но срединный человек.

Чтобы он ни одел на себя, он кажется всегда одетым в чужое. И инстинктом он чувствует это — и потому так неуверенно себя держит: не ходит обычно, а почти бегаёт дробным стесненным шагом, будто стремится от себя самого убежать; не знает, куда девать руки, то беспрестанно их потирает, то размахивает ими, как мельница крыльями. Чтобы скрыть ту же внешнюю связанность, неуверенность — непрестанно хихикает, подмигивает собеседнику... Но вот дать ему ряску шуршащую, нагрудный крест, жиденькие, душистым маслом смазанные кудри вокруг сияния лысины — тогда он был бы в своей шкуре, сразу переменялся бы, стала бы уверенной и покойной поступь, сошла бы искривленная и беспокойная улыбочка с иконописного лица. И речь его гораздо более подходила бы для речитатива молитв, для монотонной нити церковных проповедей. Когда он говорит в партийном собрании — тонким, немного завывающим голосом, — это звучит, как проповедь соборного протоиерея. За словом «товарищи» так и чувствуешь: «возлюбленные братья и сестры»... Язык его русский — чистый и ясный. Он только многословен обычно — но это тоже от соборного протоиерея. Зато иностранная речь — немецкая, единственная, которой он владеет — ему не дается. При его исключительной памяти он знает массу иностранных слов, но язык его от них ломается, спотыкается непрерывно. Русский, русский до мозга костей человек!..

Русское духовенство было аристократично только по чистоте своей крови. Но правящим сословием оно перестало быть давно. Оно считалось и считало себя

черной костью — чем то в массе своей чуть-чуть только выше стоящим на общественной лестнице, чем крестьянство в деревнях, мещане в городах. И потому в нем в массе не только не выработалось той властности и независимости, что отличала дворянство — «благородное сословие» — но, наоборот, было всегда слишком много приниженности и приспособляемости. Ему не под силу было в историческом прошлом последних столетий с боем, открыто пробивать дорогу своему влиянию, как определенного общественного слоя, — каждый в его среде шел сам по себе, шел обычно в обход, хитростью, никогда не требовал, всегда убеждал, не ударял противника в грудь, но бил исподтишка, келейной интригой. Все это впиталось в средних представителей расы с молоком матери — унаследовал эти особенности своего сословия и Крестинский. Они в значительной мере предопределили его путь в эпоху революции.

Девятнадцать лет вошел он в революционный кружок. Через два года — в 1903 г. — стал членом русской социал-демократической партии. Не метался внутри ее, не прыгал, как другие, по ступенькам ее многочисленных группировок и фракций. Сразу выбрал ступеньку, тогда еще маленькую, но и тогда уже прочную, на которой было написано: «Ленин. Большевики». Твердо стал на нее — и никогда уже с нее не сходил. Бывало — расходился и с Лениным по вопросам тактики. Но не было случая, чтобы Крестинский хоть на минуту усумнился в правильности ленинской системы идей в целом. Очевидно, природа заложила в нем потребность быть до конца преданным раз найденной «истинной вере» — и потребность чисто религиозного обожания пророка и первосвящен-

ника ее. У него была всегда пылкая влюбленность в Ленина, вера в его непогрешимость, стремление поставить его выше обычных людей — несмотря на то, что он, по своей близости к Ленину в годы революции, яснее, чем кто либо, наблюдал и видел все обычно человеческое в нем.

Помню день, когда в Берлин пришла весть о смерти Ленина. Ближайшие сотрудники Крестинского собрались у него — в зеленой гостиной у входа в его личные комнаты. Я пришел позже всех, уже под вечер: день был занят чем то в городе. Все сидели как то потерявшись в огромной молчаливой комнате. Слов не было. И тишина прерывалась только громкими всхлипываниями Крестинского. Плакал, как ребенок... Это было искренне, глубоко, захватывало, потрясало.

...Кончив юридический факультет университета, Крестинский стал адвокатиком в Петербурге, но не столько занимался скудной судебной практикой, сколько делами партии. С 1907 г. принимал самое активное участие в работах большевистской фракции Гос. Думы. Работал в петербургской большевистской печати. Там впервые познакомился со Сталиным. Вряд ли высоко его ценил: слишком разные, несходные были они натуры. — Сидел в тюрьме. Высылался.

Февральский переворот застал его на Урале. Он начал играть там большую роль. Был председателем Уральского областного и Екатеринбургского комитета партии. Впоследствии всегда считал себя уральцем — и поддерживал самую тесную связь с тамошними партийными организациями. На VI съезде партии — август 1917 г. — был избран в члены тогдашнего ЦК и сделан его представителем на Урале. От Урала

же был избран в Учредительное собрание. В начале 18 г., приехав в Петербург, принял непосредственное участие в работах ЦК. В период борьбы вокруг Брестского мира шел с тогдашними «левыми» (Бухарин, Радек), — против Ленина, против мира, за революционную войну. Но когда выяснилось, что Ленин увлекает за собой большинство партии, быстро, как всегда, примирился, нашел резинчатый компромисс. Потом заставил еще раз заговорить о себе, сыграв самую активную роль в расстреле царской семьи. В ЦК партии, при обсуждении этого вопроса, он — представитель ЦК для Урала — настойчивее всех высказывался за немедленную казнь. Но предлагал дипломатическую хитрость: ЦК де не должно выносить ясного решения, не должно говорить ни за, ни против, все должно быть предоставлено усмотрению местных властей в зависимости от обстановки. Крестинский прекрасно знал, что обстановка и настроение уральских властей таковы, что если только развязать им руки, убийство немедленно произойдет. Так и случилось.

После отставки Менжинского он был сделан народным комиссаром финансов. Ничем себя в этой работе не проявил.

После смерти Свердлова Ленин сделал его первым секретарем партии.

Крутной политической фигурой Крестинский не был никогда: нет у него ни теоретической самостоятельности, ни дерзания для больших практических дел. Он всегда идет по руслу движения какогонибудь большого корабля. И если корабль этот начинает тонуть, — быстро и ловко находит — не только для других, но и для себя, для своей души, совести

— гибкую форму компромисса. Он вообще мастер компромисса, срединных формулировок, прокладывания мягких подушек — всего того, что исключает возможность больших политических дел.

Но как человек вторых ролей, как ответственный и самостоятельный в рамках данных ему заданий исполнитель, он незаменим. Он очень работоспособен, точен в своей работе, отдается ей целиком. Но особенную ценность Ленин придавал двум свойствам его натуры.

Первое — это его исключительная память. У него большие глаза. Он почти не может читать. Он все должен брать на слух, запоминать. Это — и, конечно, природная предрасположенность — развило у него сверхобычную память. Его можно разбудить ночью и спросить, что знает он про такого то человека. Если только хоть раз ему приходилось иметь с ним дело, он немедленно, без запинки, безошибочно расскажет точную его биографию: где родился, чей сын, как вырос, какое образование, где работал, что о нем говорят. Особенно последнее — ибо у Крестинского прямо болезненная страсть собирать рассказы о людях, раскладывать их по полочкам своего мозга и при случае выкладывать. Сам он, надо сказать, плохо разбирается в людях, слишком полагается на толки, на сплетни, судит схематически, безжизненно. Есть что то абстрактное, догматическое в наклонностях его ума. Но Ленин пользовался его феноменальной памятью, как энциклопедическим справочником по партийным делам — особенно в деле подбора людей. Крестинский выкладывал свои знания — Ленин делал выводы, решал. Дела партии Крестинский знал со дня ее рождения. Знал возникновение и историю каждого спора, каждой интриги в ней. Кто и что говорил, что

и когда было постановлено. Помнил даты и даже номера бумаг.

Другое его свойство определяется уже исключительно его духовным происхождением: он мастер дворцовой, закулисной небольшой интриги. Он умеет поссорить людей, восстановить друг против друга, умеет, когда нужно, и примирить их. Все это и во времена Ленина было нужно.

Когда в ЦК партии пришел Сталин, Крестинскому пришлось плохо. Он попробовал на свой страх принять участие в большой борьбе вокруг наследства Ленина. Действовало тут и его самолюбие. Ведь до появления Сталина во главе партийного аппарата Крестинский — хотя бы и формально — был его главой. Сталин его оттеснил — немного бесцеремонно. Крестинский поставил на Троцкого. Это привело к тому, что его сняли с партийной работы и отправили в почетную ссылку, полпредом в Германию.

Там он вначале сильно тяготился и скучал. После того, как он стоял в центре всех русских дел, ему непереносимо было положение советского посла — на отлете, без влияния на внутреннюю жизнь страны, без живого участия в развивавшейся там борьбе. К тому же и Германия первое время приняла его негостеприимно. Конечно, правительство было тут не причем — но в первый же год пребывания его избили в Киссингене.

Он упорно добивался возвращения в Россию, все мечтал о назначении секретарем уральской организации партии. Он продолжал оставаться сторонником Троцкого, пытался и из заграницы принимать участие в интригах, что облегчалось тем, что Берлин был проходным двором, на котором обязательно останав-

ливались все ездившие за границу лечиться сановники, а тогда их ездило много. Квартира Крестинского в Берлине была долгое время одним из штабов троцкистской оппозиции, где на свободе встречались и обсуждали новые шаги в борьбе против Сталина ее участники. Подпись Крестинского стоит под многими документами оппозиции. Но когда оппозиция оказалась окончательно разбитой, он быстро и легко покаялся, сменил вехи. Что то в глубине души, вероятно, сохранил: обиду, протест, затаенное озлобление. Но ни для борьбы, ни для дальнейших интриг в жестком зажиме последней сталинской политики не было места. Крестинский стал окончательно чиновником — и только.

К тому же он успел за девять лет войти во вкус дипломатической работы. Стал одним из наилучших и наиболее ярких советских дипломатов. Мечта об Урале, о партийной работе и карьере все более тускнела. И, вероятно, когда он недавно уезжал из Берлина, он покидал его уже не с облегчением, а немного с тяжелым сердцем. В Берлине и жизнь и работа была для него привычна уже и ясна. В Москве о нем говорят, как о том человеке, который должен со временем заменить Литвинова. Это вполне возможно. Потеряв свою оппозиционную расцветку, став бесповоротно дипломатическим чиновником — и только — Крестинский прекрасно подходит для роли руководителя канцелярии по иностранным делам партийного центра.

Вторым заместителем наркома по иностранным делам является Карахан. Его специальность восточные дела. Внешне — это самая представительная фигура в московском ведомстве иностранных дел. Прекрасно

держится, прекрасно одевается, умеет с достоинством молчать и курить сигару. Но и в разговоре он может быть интересен, жив, не лишен остроумия, очень приветлив, предупредителен. Недостаток: не владеет иностранными языками — изъясняется только по-английски и то не свободно.

О нем рассказывают массу анекдотов. Главным образом о его легкомыслии, о его страсти к внешним удобствам, благам жизни, об известной беззастенчивости в отношении «самообслуживания». Известная доля правды во всем этом есть. Факт, что он, приехав с делегацией из Бреста (он был в ней секретарем), увлекся разгрузкой навезенной контрабанды и чуть не забыл портфель с мирным договором. Факт, что он потерял в Варшаве в частном автомобиле 40000 долларов, предназначенных для покупки дома для полпредства. Факт, что он не проводит слишком резкой грани меж своим и государственным добром. Но в политике он вовсе не так легкомыслен — и именно для восточной политики прекрасно подходит. Он армянин по происхождению, у него очень гибкий и хитрый восточный ум. Чичерин его любил, всегда покрывал и выдвигал. Ленин не замечал его, рассматривал, как технического работника. Сталин вначале его терпеть не мог, но сейчас, под давлением главным образом Енукидзе, стал к нему относиться лучше. К тому же Карахан и Литвинов — непримиримые враги. Уже за одно это Сталин будет держать Карахана: для равновесия.

Из прочих людей Москвы, причастных к дипломатии, стоит остановиться на Луначарском. Его используют сейчас для поездок в Женеву. Его посылают порой за границу с лекциями и пр. — «культур-

ным дипломатом». Возможно, что его когда нибудь назначат и маленьким полпредом: он этого упорно добивается.

Он интересен, как один из характернейших представителей болота «старой гвардии».

XXXV.

В Большом Московском театре торжественное заседание всех советских организаций: советское правительство празднует юбилей театра. Это 1925 г. — эпоха нэпа, советской сытости, политического, экономического, культурного либерализма. Такие праздники еще возможны.

Театр полон. Бросается в глаза бедная простота советской толпы: скромная военная форма, темные пиджачки, толстовки, рубашки без галстуков, монашеские платья женщин революции. Та же простота в правительственной ложе. Выделяются только дипломатические ложи: дипломаты одеты, как полагается для торжеств в Европе.

В нашей ложе сидят гостящие в Москве персидские принцы.

— Скажите, спрашивает один из них, кто эта странная пара?

И он показывает на ложу напротив. Там сидит пожилой господин с рыжей бородкой — типичный диабетик с нездоровым, желтоватым, ожиревшим лицом. В мясистый, загибающийся книзу нос врезалось золотое пенсне. Рядом с ним — упитанная, вызываю-

ще раскрашенная молодая женщина. Господин в потрепанном смокинге, дама вся оголена. В причёске у нее огромное перо райской птицы, в обнаженной руке веер. У обоих удивительно самодовольный вид. Чувствуется, что люди эти ярко переживают свое величие, наслаждаются им. На них смотрим не только мы — с удивлением, недоброжелательством, презрением смотрят на них и люди советского партера. Эта вырядившаяся пара как то не к месту здесь, в этом театре, на фоне революционной толпы. Это какой то дореволюционный рантье — из тех, которых так любили высмеивать юмористические журналы — пришедший показать себя и свою подругу.

Из соседней ложи наклоняется к нам посол одной из великих держав, граф Бр.-Р. Старый аристократ, он часто восторгается простотой революционного быта. Но зато он, как никто, умеет смотреть сверху вниз на советское мещанство — и всегда издевается над ним. Он услышал вопрос — и не может удержаться от злого замечания.

— Это, говорит он, вероятно делегация от персонала «Савоя»*).

Он прекрасно знает, кто именно эта пара. Этот господин не раз появлялся в своем потрепанном смокинге и у него на чаях. Но он хочет подчеркнуть смешной и неуместный их вид, схожесть господина с лакеем, и то, что он знает о даме.

— Разве вы не знаете, граф, отвечаю я, что это народный комиссар просвещения Луначарский со своей супругой, госпожой Сац.

... Более раннее воспоминание. Начало 1921 года. Нэп еще не введен, в Москве голод и недовольство.

*) Гостиница для иностранцев в Москве.

В железнодорожных мастерских собрание рабочих. Рабочие требуют хлеба, одежды, обуви, дров. Они не могут больше терпеть. Настроение самое напряженное. Нам — путейским комиссарам — не удастся успокоить рабочих. Да и что можем мы сказать? Дело не в словах — надо дать, обещать что либо. Наши склады пусты.

Звоним в Кремль. Пусть придет ктонибудь из правительства. Пусть что либо конкретное обещает. Что то сделать надо — иначе грозит забастовка всего московского узла.

Приезжает Луначарский. Он покровительственно улыбается:

— Что: не можете справиться? .. Ничего — я сейчас поговорю с ними...

Но поговорить ему не приходится.

Самый вид его — что масло в огонь. На нем бобровая шуба. Как то вызывающе блестит золотое пенсне. Типичный «буржуй». Лицо упитанное — сразу видно, что не голодает. Развязно подымается на трибуну.

— Товарищи... Я — народный комиссар Луначарский...

Больше ему ничего не удастся сказать. Рабочие слишком хорошо знают этого господина. Подымается буря.

— Долой! Не надо! Знаем тебя! Мы голодаем, а вы обжираетесь, на автомобилях катаетесь, в салон-вагонах, с артистками кутите... Долой!

И иные возгласы:

— Ты шубу где украл? Ты что сегодня обедал?

И наконец:

— Товарищи, тащи его с трибуны...

Мы сами стаскиваем бледного, дрожащего, потерявшего всякую способность речи наркома с трибуны и выталкиваем в заднюю дверь. Он поспешно уезжает. Вместо него присылают кого то другого... Кажется заместителя комиссара продовольствия, Сви-дерского. Тот дает ряд деловых обещаний. Кое как мы успокаиваем рабочих. Забастовка предотвращена.

Так принимали Луначарского в то время во всех почти рабочих собраниях. Он был одной из наиболее одиозных для рабочих фигур. И в конце концов Ленин запретил посылать его к рабочим.

Эти две сцены вспоминаются мне сейчас, когда я думаю о Луначарском. Они характерны обе. И этот смокинг, такой нелепый днем и на сером фоне толпы революции, и эта вызывающе оголенная женщина с ним, — и крики рабочих, ненависть их к нему, — все это известным образом символизирует фигуру отставного сейчас комиссара по просвещению.

... Луначарский-Хаимов родился в 1875 году в еврейской семье юго-запада России. Он считался в семье неудачником. В то время, как брат его быстро разбогател, разжирел, стал гласным киевской городской думы, — Анатолий Луначарский уже в 1897 году за близость к социал-демократическим кружкам был арестован и выслан. Недалеко, правда: сначала в Калугу, потом в Вологодскую губернию. В 1904 году он уехал за границу — и стал партийным литератором, примкнув к группе Ленина. Ленину он нравился вначале: у него было бойкое перо и хорошо привешенный язык. Он мог говорить и писать о чем угодно. Самостоятельных мыслей у него не было — но это и не нужно было Ленину.

В 1905 г. Луначарский приезжал в Россию на «праздник» первой революции. Как только выяснилось, что революция идет на убыль, он поспешил вновь скрыться из России — и уже до 17 года там не был. Но он бежал не только из России, но и из партии, из под ленинских знамен. Как многие из случайно пристроившихся к революции людей, он не был революционером. Не был способен к большим жертвам, к твердой и напряженной борьбе. «С пролетариатом, писал о нем основатель русского марксизма, Плеханов, г. Луначарский не имеет ничего общего. Он — типичный «интеллигент» из наиболее впечатлительных, наиболее поверхностных и потому наименее устойчивых».

Луначарский стал философом, эстетом, богоискателем. Разочаровавшаяся в революции русская общественность ушла в это время в мистику, в религиозные искания. Это было модно. Это давало шансы на успех и на заработок. И вот Луначарский пишет книгу «Религия и социализм», где заявляет, что марксизм, в сущности, есть религия, есть искание Бога. Он объявляет себя пророком этой «пятой великой религии, формулированной иудейством»^{*)}.

«Придуманная г. Луначарским религия, писал тот же Плеханов^{**)}, имеет одну большую ценность: она может привести серьезного читателя в очень веселое настроение духа. Чем серьезнее будет читатель, тем большую веселость ощутит он, прочитав комические сочинения этого пророка. Сочиняя свою религию, г. Луначарский просто-напросто подделывался к гос-

^{*)} А. Луначарский. Религия и социализм, ч. I. СПб. 1908. Стр. 145.

^{**)} Г. Плеханов. Собр. соч. ГИЗ. Т. XVII. стр. 253-254.

подствующему у нас теперь общественному настроению... Г. Луначарский вообще очень внимательно следит за спросом. Он подобен кокетливой женщине; он хочет нравиться во что бы то ни стало. Такие люди, к сожалению, всегда существовали».

Ленин отнесся к Луначарскому значительно резче. «Позорные вещи» — писал он о книге и статьях Луначарского.

— Тупое мещанство. Хрупкая обывательщина. Настроения филистера и мелкого буржуа, отчаявшегося и уставшего.

В дальнейшем, впрочем, Ленин стал относиться к Луначарскому мягче. Он окончательно рассмотрел его — и понял, что с этого человека многого и требовать нельзя. «Луначарский — пустая голова», — писал он о нем в 1916 г. И еще мягче отзывался уже во время революции: «Луначарский дурак и болтун, но не злостный».

В 1917 году Луначарский с волной политических эмигрантов вернулся в Россию — и, как все, начал делать политическую карьеру. Он был самоуверен — и думал, что ему предстоит сыграть большую роль в революции.

Летом 1917 года он вместе с Троцким, к которому был тогда близок, вошел вновь в большевистскую партию. Но влиятельного положения в ней ни тогда, ни после он не занял. «Большие люди революции, писал несколько лет спустя в своих мемуарах его друг Суханов, — и его товарищи, и его противники — не то что иногда, а почти всегда говорят о Луначарском с усмешкой, с иронией, пренебрежительно, не серьезно. В партии большевиков его держат в черном теле и не пускают в политику. Он отстранен от всякого вли-

яния на ход высоко-политических общегосударственных дел. Не без боли чувствует он, что не нашел своего места ни среди своей партии, ни среди ее дел и подвигов. Уйти же ему некуда, и незачем, и не под силу. И в результате надрыв, нескладность, никчемность, раздвоенность, растерянность. И неизбежные *faux pas*».

Большая часть таких *faux pas* рождалась из хвастливой болтливости Луначарского. Прекрасно сознавая сам, что он ничто в партии и ее политике, он любил убеждать других в своем громадном значении.

Во время июльского восстания 17 года в Петербурге, когда улицы города были еще заняты большевистской толпой, он всем направо и налево рассказывал, что это он привел главную силу мятежа, кронштадтских матросов. Когда мятеж был подавлен — его на основании этих рассказов арестовали. И ему пришлось клясться, божиться, что он непричем, что все это «глупые сплетни», а он сам даже и не сочувствовал выступлению. Его счастьем оказалось, что правительство Керенского слишком хорошо знало его ничтожество — его выпустили после двухчасового допроса, в то время, как Троцкий был отведен в тюрьму.

Но болтливость создала ему по тому же поводу новую неприятность. Он рассказал Суханову, что в июльские дни Ленин замышлял самый настоящий государственный переворот — и если бы власть была захвачена, то во главе стал бы триумвират: Ленин, Троцкий и... Луначарский. Суханов передал — уже много времени спустя — этот рассказ Троцкому. Троцкий даже обиделся. «Троцкий решительно протестовал, записывает Суханов, когда я ему изложил версию Луначарского. И отмахивался от личности

будущего «наркомпроса», как от совершенно непригодной для таких дел и конспирации». Луначарскому по требованию Троцкого пришлось написать письмо с опровержением.

После октябрьского переворота Луначарский был сделан наркомом по просвещению.

Но не успел он сесть на министерское кресло, как испугался. Власть не была еще окончательно взята. В Москве большевистский переворот натолкнулся на вооруженное сопротивление. Луначарский заявил в газетах о своем выходе из совета народных комиссаров.

«Я только что услышал от очевидцев, писал он, то, что произошло в Москве. Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются. Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища, бомбардируется. Жертв тысячи. Борьба ожесточается до звериной злобы. Что еще будет? Куда идти дальше? Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилён. Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя. Вот почему я выхожу в отставку из совета народных комиссаров. Я сознаю всю тяжесть этого решения. Но я не могу больше».

Очевидцы рассказывают, что напечатанию этого истерического заявления предшествовала бурная сцена в заседании совета народных комиссаров: Луначарский разрыдался и выбежал из комнаты с криком:

— Не могу я выдержать этого! Не могу я вынести этого разрушения всей красоты и традиции...

Ленин, несмотря на всю трудность момента, хохотал от души.

— Завтра он вернется! — сказал он.

И Луначарский вернулся. На другой день пришли вести что положение в Москве повернулось в сторону большевиков. Слабонервный комиссар забыл и Успенский собор и Василия Блаженного. И он опубликовал новое заявление «ко всем гражданам России», в котором сообщал, что народные комиссары сочли его отставку недопустимой и потому он остается на посту, «пока ваша воля не найдет более достойного заместителя». И он оставался на посту — больше десяти лет, — пока воля Сталина не нашла ему действительно более достойного заместителя в лице честного и энергичного литератора и солдата-революционера Бубнова.

Луначарский о многом мечтал, становясь народным комиссаром просвещения. Он думал о роли Лоренцо Великолепного революционной России, покровителя искусств и науки. Но из этого ничего не вышло. Все, к чему он ни прикасался, все, что он ни начинал, давало только отрицательные результаты. Он оказался слишком диллетантом, чтобы суметь продуктивно покровительствовать науке; слишком далеким искусству человеком, чтобы разобраться в сложных его течениях и выделить ценное. Но главное: он органически не был способен на серьезную работу. В то же время он оказался окруженным пронырливыми и бессовестными людьми, прекрасно игравшими на его слабостях, на его наклонности к лести. Его первые шаги стоили нищему государству громадных денег — и в то время, как выроставшие, как грибы, сомнительные театры и кабаре пожирали эти деньги, школ в стране становилось все меньше, учителя от голода уходили, либо кончали с собой, безграмотность в населении увеличивалась, высшая школа разваливалась, средняя тоже. Даже друг Луначарского, Суха-

нов, вынужден был признать: «его министерская деятельность была смешна и, пожалуй, не особенно прилична».

Постепенно Луначарского стали отставлять от дел просвещения. Высшими школами стал ведать Покровский, средней школой Менжинская, научными учреждениями Горбунов, политическим просвещением Крупская, музеями Троцкая. Потом Луначарского совсем отстранили от руководства его комиссариатом. Вначале на это дело был поставлен молодой и энергичный Литкенс. Потом, когда Литкенса убили в Крыму, фактическим руководителем просвещения стала Яковлева. Постепенно Луначарский превратился в чисто декоративную фигуру, в министра без портфеля. Даже в «идеологической комиссии», образованной политбюро партии, которая должна была давать «направление науке, искусству, литературе» председательствовал не он, а Енукидзе, главную же роль играли там Рыков, Бухарин, Горбунов, Литвинов. С мнением Луначарского комиссия вовсе не считалась — так же, как и Совнарком. За Луначарским оставили одно — право на издание его многочисленных книг, на постановку его пьес, на устройство ролей для молодой артистки — его новой жены.

Луначарский скоро примирился с таким положением. Зато он постарался вознаградить себя в другом. Он стал усиленно пользоваться всем тем, что давало ему его официальное положение. Барская квартира, автомобиль, салон-вагон, поездки на курорты, за границу — в Биагриц, в Мариенбад. У него оказались гораздо большие возможности, чем у его коллег. Те были заняты напряженной работой — он был свободен и мог весь сосредоточиться на прожигании жизни.

Те были ограничены в средствах — он вытаскивал из скудной кассы государства громадные деньги за свои книги и пьесы. Он «зарабатывал» иногда десятки тысяч рублей в год. Какой театр мог отказаться от его пьесы? Какое издательство от его книг? — Ведь все принадлежало государству. И государство не стесняло его. «От Луначарского, записывал еще в 21 году Суханов, несло действительно министерским духом». Он «быстрее и сильнее других усвоил себе министерский обиход со всеми его отрицательными сторонами». Отсюда и родилась ненависть к нему в рабочей среде.

Пока был жив Ленин — Луначарский жил без больших неприятностей. Он использовался для декоративных выступлений перед иностранцами, для либеральных речей. На его личную жизнь, не соответствовавшую суровым нравам эпохи революции, смотрели сквозь пальцы. Раз-другой ему объявляли выговоры по партийной линии, «ставили на вид». И только. Но Ленина не стало. К власти пришел Сталин. Он потребовал от Луначарского уплаты по векселям. Потребовал настоящей службы. Луначарский мог писать. У него был известный авторитет — «соратника Ленина». Сталин потребовал от него литературных выступлений, которые обязывали. Потребовал, чтобы он смешал с грязью Троцкого — который, как никто, поддерживал в свое время Луначарского, которому тот был обязан всей своей карьерой. Потом Сталин потребовал таких же выступлений против Рыкова и Бухарина. Луначарский шел на все — лишь бы держаться на поверхности. Мало кто в советской России дошел до такой степени сервилизма, как он. Он не плакал уже по поводу разрушения русских на-

циональных святынь — он усиленно помогал уничтожать их. Всего недавно он по приказу свыше выступил против Льва Толстого — и заявил, что это писатель гораздо более мелкий, чем Горький, что «Война и Мир» — это вовсе не произведение искусства, а просто... «памфлет в защиту дворянского класса против капитализма». Совсем недавно он дал формулу, которая, по моему, никем не превзойдена: «Думать, что Ленин мог чего то не заметить, что то пропустить, или о чем то не знать, — это предел наглости». Поистине: предел наглости и подхалимства!

И тем не менее Сталин выбросил Луначарского за борт, взяв от него все, что мог взять. Сейчас Луначарский не только отставной нарком, но и отставной человек. Сейчас он — ничто в советской России.

Если прежде для московского обывателя он был одной из самых популярных по своей анекдотичности фигур Москвы, и о нем часто говорили — правда, как о комическом явлении, но все-таки говорили, — сейчас о нем не говорит уж почти никто. Он сошел со сцены.

Его не забыли только рабочие. Они по-прежнему его ненавидят. Никогда рабочие не смеялись над Луначарским. Их жизнь была слишком сурова и трагична для этого. И в них эта фигура вызывала только отвращение. Для них она была символом тех паразитических элементов, которые, не имея ничего общего ни с революцией, ни с рабочим классом, пристроились при них, на их крови. «Нахлебник революции», — так зовут этого человека в рабочей среде.

... У него есть таланты. Он может писать. Он может красно говорить. В маленьком провинциальном городке — и в обстановке тихой мелкобуржуаз-

ной жизни он был бы, может быть, большим человеком.. Его плоские остроты имели бы успех. Его ум диллетанта во всех областях считался бы за подлинный ум. Но он — к своему несчастью — появился на исторических подмостках в большую и трудную эпоху. Чего же удивляться, что для одних он проявился на ней, как комическая фигура, как мишень для веселых и грязных анекдотов, — для других — как пошлая и трагическая одновременно маска «паразита революции»?

XXXVI.

Во главе красной армии стоит Ворошилов — народный комиссар во военным и морским делам.

Типичное крестьянское и русско-славянское лицо: широкое, открытое, упрямо-волевое.

В кругу незнакомых людей, или на работе он обычно замкнут, молчалив. Губы плотно сжаты, в углах жесткая и скорбная складка: он видел в жизни немало и тягостного и гадкого. Глаза холодные, смотрят несколько подозрительно и свысока, как у всех людей, привыкших повелевать, решать вопросы жизни и смерти. Меж бровей складки, которые вот-вот дрогнут, сдвинутся — и исказят лицо вспышкой страстного гнева. Он сам сознается, что его отличает «излишняя горячность, недостаток сдержанности, вспыльчивость». Он может во время споров в политбюро стукнуть кулаком по столу, швырнуть бумаги, чернильницу, даже ударить когонибудь, выхватить

револьвер... Впрочем, это редко бывает. Он недаром столько лет на военной службе. Школа военной работы — лучшая для воспитания человеческого характера. Он научился владеть собой, держать порывы в тисках железной воли.

Среди своих он умеет и смеяться — заразительным смехом очень простого и непосредственного человека. Он очень отзывчив, прекрасный товарищ. Но долг для него — прежде всего. Если нужно — он не задумается послать на расстрел самого близкого человека. Тем не менее его любят в военной среде. Он популярен и в стране. Не надо забывать: он тот, кто порой больше всех смягчает жестокость сталинского режима.

Он здоровый, крепкий, будто из одного куска вырубленный человек. На щеках густой румянец, волосы густые, хотя и с проседью. Он любит гимнастику, холодное купанье, верховую езду. Но годы всетаки сказываются: ему уже за пятьдесят. Он отяжелел.

Глядя на него, нельзя подумать, что этот человек 13 лет назад не имел никакого представления об армии, о военном деле, был рабочим и профессиональным революционером. Сейчас он — типичный военный: весь подтянутый, с четкими движениями, со скупыми словами, всегда звучащими, как приказ. На нем — безукоризненно сидящая советская военная форма. На груди — знаки «Красного Знамени» — высшего и единственного военного ордена советской страны.

... Он родился в крестьянской семье юга России. Родня отца была богатая — «кулаки», «мироеды». Но отца Ворошилова не тянуло к крестьянской работе. Как раз тогда начала развиваться промышленность

Донецкого края. Ефрем Ворошилов пошел на рудники, стал рабочим. Но нигде не мог ужиться подолгу. Характер у него бы неусидчивый, непокорный — как потом у сына. «Если мастер позволял себе погладить его против шерсти, он сразу же вставал на дыбы». Вел, поэтому, кочевую жизнь, перебивал почти на всех рудниках края. Был одно время — как раз, когда родился сын — железнодорожным сторожем.

Семья жила бедно. Матери приходилось работать в богатых домах. Мальчика Ворошилова тоже послали на работу, как только ему исполнилось семь лет. Он собирал в шахте колчедан; получал за это 10 копеек в день. Потом был пастухом, работал батраком у богатого дяди. Потом попал на завод. Это было тогда нелегко, требовалась «протекция» — и в первый же день Ворошилова избили из зависти работавшие на руднике поденно крестьяне. «Случай избиения меня, ребенка, целой армией взрослых парней — рассказывает он сам, — остался болезненным воспоминанием на всю жизнь».

На заводе он быстро выдвинулся, стал машинистом. Он был значительно способнее и развитее своих товарищей. Когда ему было двенадцать лет, мать — как ни трудно это было семье — настояла, чтоб он начал посещать деревенскую школу. Он проучился, правда, только две зимы: надо было работать, зарабатывать. Но на него обратил внимание местный учитель, Рыжков, сам человек незаурядный, ставший потом депутатом первой Государственной Думы. Он продолжал в свободное время заниматься с Ворошиловым, давал ему книги для чтения, беседовал о прочитанном. Пятнадцати лет Ворошилов успел уже проглотить всех русских классиков, знал основы есте-

ственных наук. Несколько позже набросился на политические и экономические книги.

В 1898 году — ему было семнадцать лет — он впервые был арестован за столкновение с полицейским приставом. В том же году на их заводе образовался первый революционный кружок. Ворошилов стал вскоре его руководителем. Вскоре он вновь был арестован — за организацию забастовки. Потом долго не мог получить постоянной работы: заводские власти боялись принимать этого беспокойного человека. С тех пор он стал профессиональным революционером.

В первую революцию он играл значительную роль. В июле 1905 года был арестован, причем его избили до полусмерти. В декабре его силой освободили рабочие, и он стал председателем рабочего совета в Луганске. Организовывал рабочие боевые дружины, перестреливался с полицейскими, бросал бомбы. Оружие он привозил сам, динамит для бомб брали в шахтах.

В это время он тесно сблизился с большевистским центром. Съездил в Петербург. «Глубокий провинциал, все время проживший в Донбассе и кроме заводов, шахт и тюрем ничего не видевший, я был ошеломлен блеском магазинов и улиц, шумом, и немножко плохо чувствовал себя в огромном городе», — так вспоминает он свой первый приезд в Петербург в 1906 г. Там он впервые встретился с Лениным. «Владимир Ильич произвел на меня огромное впечатление. Все в нем казалось мне необыкновенным. И его манера говорить, и его простота, и главное пронизывающие и сверлящие душу глаза».

Потом — в том же 1906 г. — он побывал в Стокгольме, в 1907 г. в Лондоне — на партийных съездах. Его кругозор расширялся.

В 1907 г. его арестовывают и ссылают в Архангельскую губернию. Он бежит — отправляется на подпольную работу в Баку. Там сближается со Сталиным. В 1908 г. его опять арестовывают — и до 1912 г. он в ссылке на севере. В 1912 г. — чуть только его освобождают — новый арест, опять ссылка до 1914 г. Во время войны он работает на оружейном заводе в Царицыне, потом в Петрограде. Там застает его февральская революция. Он играет в ней значительную роль: это он увлекает Измайловский гвардейский полк на сторону революционеров. В апреле 17 г. он возвращается на родину, в Луганск, там выбирается председателем городской думы и рабочего совета. После октябрьского переворота, избранный членом Учредительного собрания, опять едет в Петроград. Играет большую роль: он комиссар Петрограда — и вместе с Дзержинским организует ВЧК.

В начале 1918 г. начинается его военная карьера. Немцы наступают на Украину. Советские украинские партизанские отряды, гордо именующие себя армиями, на самом же деле малочисленные и плохо дисциплинированные отряды, наполовину составленные из всякого подозрительного сброда, рассыпаются и отступают почти без боя под их натиском. Часть их сосредотачивается около Луганска. Немцы движутся методически. Все теснее они смыкают стальное кольцо. В тылу, на Дону, казачество восстало против советской власти. Наступает решающий момент. Если не удастся вывести партизан из окружения — они будут уничтожены. С ними — и значительная часть рабочего населения Донбасса.

На станции Родаково собираются командиры партизан и делегаты отрядов. С большой речью высту-

пает Ворошилов. Он — командир организованного им отряда луганских рабочих.

Так воевать, как до сих пор воевали, говорит он, нельзя. Мы не военная сила, а дезорганизованные массы вооруженных людей, разгромить и уничтожить которых — легчайшее дело. Единственная возможность дальнейшей борьбы и спасения — это объединение всех отрядов в одну армию, введение твердого единоначалия и жесткой дисциплины.

Собрание постановляет образовать единую армию. Командующим — простым голосованием — был избран Ворошилов.

Это было в 12 часов ночи. А утром уже можно было ждать немецкого наступления. Ворошилов всю ночь провел в лихорадочной работе. Был образован армейский штаб, отряды были переформированы, некоторые, отказавшиеся повиноваться новому командующему, разоружены, — к утру армия была в более или менее боеспособном состоянии. Когда немцы начали наступать, то они нарвались на упорное сопротивление. Ворошилов шел впереди атакующих цепей — и те солдаты, которые до сих пор не знали его, прониклись к нему доверием. Немцы были отброшены, потеряв артиллерию, пулеметы, много раненых и убитых. Эта первая победа, хотя и маленькая, имела большое значение. Она придала армии доверие к собственным силам. «Наши красноармейцы, пишет один из историков красной армии, показали в блестящем деле под Родаковым, что у них начинают отрастать «клыки». Этот эпизод уже предугазывал героев царицынского сидения».

Ворошилов пробивается со своей армией к Царицыну. Три месяца длится их путь — в непрерывных

боях с наседающими со всех сторон казаками. С армией — всего в 15 тысяч бойцов — тянутся бесконечные поезда с 50 тысячами беженцев из Донбасса. Порой кажется — дальше не продвинуться: гибель, конец. Энергия и мужество Ворошилова находят выход из самых трудных положений.

В Царицыне Ворошилов застает Сталина. Они вдвоем организуют защиту этого города от донских казаков. Ворошилов становится командующим организованной здесь 10 армии. Вокруг него группируются здесь наиболее способные полководцы-самоучки, которые в дальнейшем станут организаторами нынешней красной армии. Прав один из историков красной армии, говоря, что, собственно, Царицын, армия Ворошилова, были ее «военной академией». Несмотря на превосходство сил противника, на недостатку снаряжения, которое зачастую сознательно задерживали люди Троцкого, Ворошилов отражает все удары белой армии, — и не дает ее южным силам соединиться с сибирскими. Интрига Троцкого заставляет Сталина покинуть Царицын, затем оттуда снимается и Ворошилов. Через некоторое время после его отъезда «красный Верден» переходит в руки белых.

Ворошилов работает на Украине. Занимает ряд командных должностей в армии. В 1919 г. ему вместе с Буденным поручают организацию знаменитой конной армии, которая в сущности решает судьбу гражданской войны. Он проделывает все походы конной армии, переживает с ней и разгром Деникина, и польскую войну и, наконец, победу над Врангелем. Он становится наиболее популярным из полководцев гражданской войны. О нем слагают песни. За ним утверждается кличка: «первый офицер» красной армии.

По окончании гражданской войны он назначается командующим войсками северо-кавказского военного округа. В 1924 г. он командующий войсками московского округа — и здесь помогает тогдашнему главе красной армии, Фрунзе, изничтожить печальное наследство Троцкого, изгнать насаженных им штатских бюрократов, реорганизовать армию, поставить ее на один уровень с армиями великих мировых держав. В ноябре 1925 г., после смерти Фрунзе, он становится во главе красной армии.

Все время Ворошилов работает над собой. И по отзывам военных специалистов сейчас он, кроме большого боевого опыта, имеет и значительные теоретические познания в военном деле.

С 1926 года Ворошилов — член политбюро. И там он играет очень большую роль. Он тесно связан со Сталиным: старой дружбой, долгой совместной работой. Он всегда поддерживал Сталина — и в борьбе с Троцким и с «правыми». Сталин доверяет ему — этим и объясняется, что Ворошилов так долго остается на своем громадного значения посту.

Правда, Ворошилов не раз выступал и против Сталина — не открыто, но в замкнутой правительственной среде. Выступал резче, чем кто либо. Он сам слишком близок народу, чтобы не ощущать, как тяжела его настоящая жизнь. К тому же на него давят и настроения красной армии, в подавляющей части своей крестьянской. Сплошь и рядом Ворошилов настаивал на смягчении политики власти — особенно крестьянской политики — и добивался смягчений. Но все это были частичные меры — и никогда полный поворот политики. Меж тем, многое говорит

за то, что в душе — Ворошилов за резкий, за полный поворот на чисто-национальные рельсы развития. Но как осуществить это? У Ворошилова нет своей собственной ясной политической линии. Вместе с тем нет у него и решимости идти до конца.

Я знаю немного жизнь Ворошилова. Я не раз видел его — и многое слышал о нем. Это был всегда человек большого дерзания, громадного личного мужества. И человек вместе с тем очень честный, общее благо ставящий выше личного. В боях он всегда был впереди. Не раз собственной грудью закрывал других. Ни перед чем никогда не отступал. Не знал невозможного. В спорах, когда был уверен в своей правоте, никогда не шел на компромиссы, никогда не склонялся перед более сильным — только потому, что он сильный. Все это было. Многое есть, несомненно, и сейчас: и честность, и мужество, и своеобразная преданность интересам страны и народа. Но многое изменилось и в Ворошилове, как и в других правителях советского государства старого поколения.

... Тридцатилетний генерал Бонапарт легко ставил на карту все — свою карьеру, даже жизнь, — и почти шутя выкидывал из оранжереи Сен-Клу революционную парламентарную накипь: произвел государственный переворот, освободил Францию. Отяжелевший, потерявший молодое дерзание, император Наполеон не рискнул под Ватерлоо бросить в бой свой последний резерв, старую гвардию — и потерял все.

... Четырнадцать лет назад донецкий слесарь Клим Ворошилов — и многие другие — были молоды еще и полны сил. Они готовы были на все ради народного блага — как они его понимали. Море было им по колено. Они готовы были штурмовать весь мир. Они

ставили на карту все. Да, впрочем, им почти и нечего было тогда терять — зато они все приобретали. Сегодня?.. Сегодня наоборот: им почти нечего приобрести, зато потерять они могут все — высокие чины, влияние, лесть, даровую любовь женщин, удобно налаженную жизнь, логи в театре, автомобили, загородные дворцы... все, все. И это подсознательно действует даже на таких людей, как Ворошилов. Только имя, авторитет дерзких и сверх-обычно мужественных людей остались у них. Но внутри крепкое с виду дерево подточено червем власти. Подлинного дерзания у них уже нет. Они — охранители сущего, а не революционеры, консерваторы, а не новаторы. Они могут править страной — по инерции, опираясь на послушный аппарат, на полицию, на штыки армии. Но бросить эти штыки в неизвестность ради завоевания новой, лучшей доли народу, самим броситься в новую борьбу... нет, на это, повидимому, даже Ворошиловы неспособны. У старых волков большевизма стали выпадать зубы...

...Как то Ленин, вздыхая, сказал Кржижановскому:

— Знаете, какой самый большой порок в мире? — Быть старше пятидесяти лет...

Да, когда больше пятидесяти лет — трудно начинать жизнь сызнова, перестраивать свои идеи, привычки, личные связи. Утверждение же нового национального строя в России — это начало жизни именно сызнова. Способны ли к такому повороту Сталин, Ворошилов, люди их поколения? — Думаю, что нет.

На первый взгляд может показаться странным, что я, характеризуя, хотя бы и бегло, аппарат и людей власти сегодняшней России, так мало сказал о «верховном органе» советской страны, о союзном ЦИК'е, и еще меньше, пожалуй, о его председателе, о формальном «главе» государства, Калининe. Но я характеризую не конституцию, а фактическое положение дел. О советской конституции можно много сказать — и хорошего и плохого. Когда придет время ее пересматривать, все это и будет сказано. Сейчас же конституция советской страны — одно, фактическое устройство власти — другое. Я отмечу только, чем конституция, вернее, законы, разъясняющие ее применение, способствуют тому фактическому сосредоточению власти в руках партии, о котором я говорил.

Во-первых, русское крестьянство, т. е. основная масса русского народа, по советским законам имеет в *пять раз меньшие* избирательные права при выборах в советы, чем городское население.

Во-вторых, советские законы дают органам власти самые широкие возможности лишать права избирать и быть избираемыми всех неугодных лиц.

В третьих, сама система выборов в советы такова, что дает возможность давить на выборы и подтасовывать их. Первичные выборы, прямые, открытые, производятся в собраниях простым поднятием рук. Само собой разумеется, что открытое голосование дает самые широкие возможности давить на голосующих. Вместе с тем нет точного учета присутствующих и всегда возможна подтасовка самого собрания. Выборы

на съезды советов двухстепенные, что дает возможность во второй стадии произвести окончательное отцеживание.

Все это и приводит к тому, что на съезды советов и в ЦИК проходят только те кандидаты, которые заранее намечены ЦК партии. Подавляющее большинство всегда принадлежит коммунистам — а в их числе, да и в числе прочих, так называемых «рабочих и крестьян», в большинстве чиновники партийно-государственного аппарата. Следовательно, ЦИК — это полученное в результате искусно организованных и подтасованных выборов собрание правительственных чиновников, которые, и состоя в ЦИК'е, продолжают нести свои чиновничьи обязанности. Может ли такой орган быть авторитетным хоть сколько нибудь для правительства? — Нет.

ЦИК только ширма, с которой все меньше даже по соображениям декоративности считаются. Политическое значение его равно нулю. Точно также ничтожно политическое значение и президиума ЦИК'а. Фактически — это подсобная комиссия совнаркома.

Совершенно естественно, что и председатель ЦИК'а — чисто декоративная величина, и большой человек на этой должности не нужен. Вот почему нет никакой надобности, говоря о людях власти, говорить сколько нибудь подробно о «всесоюзном старосте» Калинине. Он, правда, член политбюро. Но и там он просто жалкий подвесок, болтающийся и голосующий по указке Сталина. К тому же Сталин уже давно имеет в отношении калининского поста далеко идущие замыслы — он хочет спихнуть на него Молотова, чтобы самому сесть на место председателя совнаркома. Сталин чувствует, что маятник истории начал качаться в

сторону государственного аппарата. Партия сыграла свою роль — это знает уже и Сталин.

Сознательно я почти обошел молчанием и Рыкова, как и всех людей старой «правой оппозиции». Они уже история, но не современность. Рыков, один из немногих честных и народных людей в «старой гвардии», был в свое время очень популярен, даже любим. Когда он появлялся на трибунах съездов партии и советов — все подымались, ему устраивались длительные овации. И не потому только, что он был председатель совнаркома, но потому, что у него было много личного обаяния. Но он оказался слишком слаб — а этого история политическим вождям не прощает. Он не сумел пойти вперед — ни со Сталиным, в направлении усиления коммунистических тенденций, ни в другую сторону, к резкому отмежеванию от коммунизма. Он застрял со своими друзьями на пол-пути. Он хотел умеренного коммунизма, но все-таки коммунизма. В результате и он и его друзья во всех отношениях оказались тормазом развития. И история их смела. Сейчас Рыков конченный человек. Он сидит в скромном кресле народного комиссара почт и телеграфов — и люди, которые недавно еще восторженно аплодировали ему и почтительно перед ним сгибались, сейчас проходят мимо, почти его не замечая.

В ином положении Бухарин. И он побежден. Он даже не член правительства сейчас. Но крупнейшим мыслителем русской страны, одним из крупнейших мыслителей мира, он остался. И он, несомненно, человек, который скажет еще большое слово в будущем — если его, конечно, не убьют. Но сейчас невозможно предвидеть, каково будет это слово и каков будет его резонанс. Ибо Бухарин лишен сейчас возможности вы-

сказываться — и то, что доносится до нас, слишком недостаточно, чтобы судить как следует об этом ярком человеке, любимце Ленина, и (это надо подчеркнуть) несмотря на всю свою теоретичность, несмотря на все засилье схоластики в душе, преданном и любящем сыне русского народа и русской земли.

... Из заграничных представителей Кремля на фоне ничтожеств, паразитов, либо просто отдыхающих в синекурном положении сановников, выделяется Г. Сокольников-Бриллиант. Тонкий и острый ум, огромная работоспособность, большие знания, критическое отношение к действительности, большая трезвость и умеренность взглядов — все это делает его вообще одним из крупнейших людей нынешней советской верхушки. Он в опале у сталинского режима, но с ним считаются. Его заслуги перед страной таковы, что вычеркнуть их трудно. Он не только был одним из организаторов красной армии в эпоху гражданской войны, он был — и это еще важнее — организатором советских финансов. Это он стабилизировал червонец — и он же не раз предостерегал от увлечений и крайностей финансовой хозяйственной политики сегодняшнего дня. Он по натуре своей прежде всего яркий и смелый делец — и в качестве такового несомненно найдет самое широкое применение своим силам при всяких комбинациях будущего. Он еврей — но из тех кругов еврейской интеллигенции, которые считают русское дело своим собственным, которые были еще в прежние времена культуртрегерами великорусской культуры. Он питал одно время симпатии к Троцкому — не столько идейные, сколько к личности — но быстро от него отшатнулся. Сделал это, однако, с достоинством и благородством, на какое оказались

способны немногие из ярых поклонников Троцкого, всем ему обязанных. — Сокольникову советская власть многим обязана сейчас в Англии.

Из заграничных ничтожеств полезно остановиться на фигуре, характерной для той грязной пены, какую порой выносит на своих гребнях волна революции — на советской послыхе в Швеции, мадам Коллонтай.

XXXVIII.

... Часто, часто на кровавых подмостках революции рядом с грубым сапогом рабочего или солдата, лаптем крестьянина, простенькой «бареткой» пролетарской женщины, вы видите шелковую или лаковую туфельку «дамы». Обычно эти туфельки ступают по зыбкой почве эпохи железа и крови робко, спотыкаясь, будто идя на казнь. Впрочем так в большинстве случаев и есть: то надругательство, что зачастую творится в такие эпохи над человеком, а особенно над женщиной — и особенно над женщиной прежних господствующих классов — иногда равносильно, иногда хуже физической казни.

Но порой вы видите и такую дамскую ножку, которая скользит по липкой крови легко и уверенно. Будто танцуя, откидывает легким носком трупы, грязь — и идет дальше.

Вы подымаете глаза. Вы видите улыбающееся, самодовольное лицо. В нем нет сознания творимых кругом ужасов. В нем одна только удовлетворенность своею собственной судьбой.

Есть герои, есть палачи, есть жертвы и мученики революций. Перед одними склоняются. Других ненавидят. Третьих оплакивают. Но эти легко скользящие трупные мухи... их ни оплакивать, ни ненавидеть нельзя. Их можно только презирать.

... Их было, кажется, три сестры. Все три ушли в бегемот. Одна сделала себе артистическое имя. Одна — Александра — ушла в бегемот революционную. Это было давно: в 1898 г., когда ей было двадцать шесть лет. Ее ровесник, Чичерин, в это время только начал свою карьеру в министерстве иностранных дел.

Ей не пришлось по излюбленному методу многих старых большевиков отыскивать в списках русских дворянских фамилий громкий псевдоним. Она не стала ни Литвиновой, ни Зиновьевой. Случайное и краткое замужество подарило ей не менее громкое имя: Коллонтай. Оно звучало аристократически. Большими буквами было вписано оно в историю национально-освободительной борьбы польского дворянства.

Это имя она пронесла через все до-революционные эмигрантские каморки, пачкала его на грязном белье подозрительных отелей, цинично трепала его всю свою неопрятную жизнь. С ним же потом села на кресло народного комиссара, не переменила его на пролетарско-плебейское: Дыбенко, с ним же поехала за границу представлять СССР...

И будучи уже полпредом «пролетарской государственности» не раз и не два, но при всяком удобном случае подчеркивала она аристократичность присвоенного имени. Не возражала, но довольно улыбалась, когда пылкая фантазия иностранных репортеров делала ее «генеральской дочерью»: ей нравилась роль русской дворянки среди пролетариата, носительницы

звучного имени среди безродной толпы сегодняшнего дня. Нравилась именно потому, что дворянкой и русской она не была никогда, и имя ее было не ее имя... Платье, купленное по случаю на парижских распродажах, второсортные духи во вкусе парижской горничной, меха из запасов реквизированного буржуйского добра дополняли картину пролетарского аристократизма. Словом: не товарищ, не гражданка даже, а «мадам Коллонтай».

Мне вспоминаются некоторые другие советские полпреды. Вот Устинов, бывший полпред в Греции. Из крупных дворян, из крупных помещиков Саратовской губернии. И он бывал на дворцовых приемах, и он устраивал приемы у себя. Все это требовалось. У него был прирожденный блеск, он был, как дома, на паркете аристократических салонов. Плебеи нового западного мира невольно склонялись, когда он входил. Но сам он, когда, поддерживаемый обшитыми галунами лакеями садился в дворцовый автомобиль, — он чувствовал себя мучительно неуютно, весь как то сжимался. Он выполнял необходимый церемониал, но только так, как выполняли его в свое время посланники первой французской республики, так выделявшиеся на фоне раззолоченных европейских дворов своими простыми синими мундирами, перепоясанными красным шарфом, своим отсутствием париков и вычурных манер. Он отбывал этот церемониал, как неизбежную повинность, но стремился ограничиться самым необходимым, не позировал, но быстро пробежал через ряды фотографов и репортеров. Устинов был подлинным представителем уже отмирающей расы русского кающегося дворянства, которое первое подняло над Россией знамя освободительной борьбы — и которое ра-

ди этой борьбы могло идти на любые лишения, но никогда, подобно люмпен-пролетариям, не изменяло своим принципам. И умирая за своего императора — и на службе революции это русское дворянство было одинаково благородно!

С этой породой у мадам Коллонтай не могло быть и не было ничего общего. Сидя в раззолоченной семи-стекольной карете разрушаемых ее строем режимов, подымаясь по лестнице ненавистных ее правительству дворцов, она не чувствует всей фальши своего положения, его невыносимого противоречия. Не стремится выйти из этого положения подчеркнутой официальной простотой. Ее оплывшее лицо кокетливо и довольно улыбается кучкам зевак, пришедших посмотреть на редкое зрелище: на большевичку в придворной карете. Удовлетворенно позирует она перед фотографом, прикрывая дрожащей старческой рукой дыры изношенного «старорежимного» мантио.

Но оставим внешнее. Жест, о котором потом, может быть, сожалеют, гримаса улыбки, которую жизнь быстро сгоняет с лица, прочие внешние неловкости... все это у политика часто искупается наличием внутренней чистоты, искренности, убежденности. Нельзя судить по настроениям минуты. Нужно брать всю жизнь, всего человека в целом.

Внутреннее содержание этой женщины больше всего интересовало меня. Мимолетные встречи с нею не дали мне достаточного ответа. Я спрашивал тогда у людей, отдавших революционной борьбе десятки лет жизни — и насквозь знающих всех участников этой борьбы:

— Что знаете вы о Коллонтай?

Люди знали ее. Помнили еще по эмиграции. Но заминались. Отвечали уклончиво.

— Ничего... Кроме...

И мне с неловкостью, конфузясь, рассказывали истории, которые с политикой ничего не имеют общего, и которых я не хочу повторять. Но смысл их был таков. Есть женщины, которым не по нутру семейный уклад. Но сами по себе они не могут стать твердо в жизни. Они должны иметь поддержку — и раз не дана поддержка одного, то приходит поддержка многих. Есть женщины, которые ищут эту поддержку в аристократической, в мелко-буржуазной, в художественной среде. Мадам Коллонтай сначала взметнулась в среду военно-аристократическую. Ничего не вышло. Случай свел ее с революционной средой — в ней она и стала кормиться. Кроме того она была неплохим техническим секретарем, она гладко, хотя и малосодержательно, говорила, знала несколько языков, использовалась в качестве переводчика. Идейных интересов у нее самой не было. Но она жила в среде, где идейная жизнь была все. Она поневоле надела на себя идейную маску. Талант мимикрии всегда отличал женщин, подобных ей.

Она не лишена была и других талантов. В частности, могла бойко писать. Она написала книжку о своей жизни — изданную, кажется, в Одессе. Но там ничего, чтобы стоило отметить, я не нашел. И главное: нашел очень мало правды. Это тоже патологическая черта, свойственная женщинам известных кругов: никогда правды о себе самой! Она писала еще по женскому вопросу. Ее друзья усиленно выправляли для нее этот труд. Наконец, написала беллетристическое произведение: «Любовь пчел трудовых». Я внима-

тельно прочел все это. Все, что она сказала по женскому вопросу, было ярче и содержательнее сказано еще до нее. Компиляторская ловкость, обилие общих мест — и больше ничего. И насквозь видна основная тенденция книги: не работа ради работы, но книга ради повышения интереса к автору. Все, что она, якобы со смелостью, высказала по проблеме полов, — тоже старо, неоригинально, а, главное, приторно-слащаво, фальшиво, пахнет самым заскорузлым мещанством, словом, опять таки характерно для женщин определенного типа. Новая жизнь ничего не имеет общего с этим сладеньким обсасыванием половых отношений. Новая жизнь, хотя бы в здоровых слоях современной Германии, в среде националистической молодежи, либо у нас, среди нашей лучшей молодежи, дала мораль иную, более ясную, более смелую и более честную.

И в ее жизни политической, как и в ее писаниях, никаких сколько-нибудь ярких вех. Легкое порхание, скольжение по партиям, людям, мыслям, как по лощеному паркету дорогого публичного дома. Даже официальный биограф не находит ничего, чем бы можно было прикрасить эту жизнь. Да, она сидела в тюрьме — недолго, правда. Но кого сегодня, в эпоху не только тюрем, но тысяч и тысяч бессудных казней, пыток и пр. этим удивишь? И ведь царская тюрьма, особенно в те далекие времена и для политических, не была тем адом, каким является тюрьма большевистская, — и особенно сталинская тюрьма. Даже годы сидения в царской тюрьме не сламывали так человека физически и морально, как сламывают, принижают, обезличивают дни и месяцы пребывания в застенках «социалистического строя»:

До 1906 г. мадам идет с большевиками. Путаясь,

правда, часто сбиваясь с пути. С 1906 по 1914 она с меньшевиками, в частности с Троцким. Во время войны опять приближается к большевикам.

Пожалуй наиболее яркой полосой ее жизни были годы войны. В эти годы с мадам переписывался Ленин — и использовал по своим поручениям. Почему вдруг Ленин обратил внимание на Коллонтай? — Об этом отчетливо говорит Л. Каменев в предисловии к брошюре, содержащей «Письма Ленина к Шляпникову и Коллонтай».

— Надо вспомнить страшную оторванность и изолированность, которая наступила для Владимира Ильича с начала войны. Ближайшие сотрудники Владимира Ильича ... все находились или на каторге, или в отдаленных углах России. При этих условиях естественно, что Владимиру Ильичу приходилось ценить и развивать любую «связь», дававшую хотя бы слабую надежду передать свои мысли и директивы в Россию или заграничным группам «левых».

Вот чем была мадам Коллонтай для Ленина: «любой связью», «слабой надеждой».

... С октябрьской революцией мадам Коллонтай была назначена народным комиссаром социального обеспечения. По тем временам мало что можно было сделать в этой области, Коллонтай же сделала меньше, чем могла. Сравнительно скоро ее сняли. Потом она была комиссаром пропаганды на Украине. Шла борьба. Лилась русская кровь. Очередной ее муж, матрос Дыбенко, топил в Черном море офицеров, расстреливал и истязал мирное население. Мадам Коллонтай помогала ему. Она чувствовала себя прекрасно. И только когда белые штыки, начавшие продви-

гаться к северу, стали угрожать ей лично, она покинула залитую кровью Украину.

И она была в оппозиции. Это было в 1921 г., когда советская республика, споткнувшись о труп восставшего Кронштадта, о мятежи крестьян, о брожение рабочих и армии, резко повернула от военного коммунизма к новой экономической политике. Тогда возникла «рабочая оппозиция». В этом движении было много чистых и честных людей. Они плохо разбирались в реальной политике, но были большими идеалистами. Им казалось, что ленинская новая экономическая политика — это измена революции, делу рабочего класса, восстановление капитализма. Рабочая оппозиция протестовала против все усиливающегося роста силы государственного аппарата, против жестких форм партийно-советской диктатуры, против бюрократизма во всех его проявлениях. Они требовали передачи дела управления народным хозяйством в руки органов, выбранных «всероссийским съездом производителей, объединяемых в профессиональные производственные союзы». Некоторые видели спасение от аппаратной диктатуры в установлении полной свободы печати «от монархистов до анархистов».

Мне пришлось близко знать некоторых людей рабочей оппозиции, — и у меня остались самые теплые воспоминания о них. Я помню и никогда не забуду беседы с Ю. Лутовиновым.

— И революция наша сволочная, и революционеры наши сволочь... Все возвращается к старому. Честным людям ни жить, ни работать нельзя.

Он был во многом неправ — но искренен. Надломился вскоре — и застрелился, думая, что его смерть чему-то поможет.

Мадам Коллонтай, бывшая меньшевичка, внезапно тоже окрасилась в цвета рабочей оппозиции. И стала напыщенно писать:

— Как только полегчало на военном фронте, и маятник жизни нагнулся в сторону хозяйственного строительства, как типичные, неискоренимые по духу пролетарии, самые яркие и устойчивые представители своего класса, поспешили сбросить «френчи», кожаные тужурки и отложить в стол папки «исходящих и входящих бумаг», чтоб отозваться на молчаливый призыв своих братьев по классу, фабричных и заводских рабочих, миллионов русских пролетариев, влачащих и в советской трудовой России каторжное позорно-жалкое существование. Классовым чутьем поняли эти товарищи, стоящие во главе рабочей оппозиции, что дело неладно, что за три года революции мы, правда, построили советские аппараты и утвердили принцип рабоче-крестьянской республики, но что сам рабочий класс . . . все меньшую играет роль в советской республике, все слабее окрашивает мероприятия своего же правительства, все менее руководит политикой и влияет на работу и на направление мысли центральных органов власти . . .

— Тов. Ленин не отрицает, что мы заключаем теперь союз с русским крестьянством. Но что это за союз? — Не является ли он, собственно говоря, громадной уступкой всей нашей экономической политики мелкой русской буржуазии? Да, мы должны честно сказать: это — уступка . . . России грозит от этих уступок величайшая опасность . . . Они принесут признание того, что те коммунистические принципы, на которых была построена вся наша политика, обманули наши надежды, оказались несостоятельными. Это лишает ра-

бочих бодрости духа. Напротив, в крестьянстве уступки рождают убеждение, что именно оно является тем слоем, на котором поконится наш экономический расцвет и которому, следовательно, суждено оказывать сильное влияние на нашу политику...

В последней выдержке — объяснение того, почему мадам Коллонтай бросилась в сторону рабочей оппозиции: прежде всего — из инстинктивной, такой характерной для всех меньшевистских и люмпен-пролетарских слоев нашей революции, ненависти к крестьянству. Вторая же, главная причина ее тогдашней оппозиции ленинскому нэпу заключалась уже в чисто личных моментах. Ленин звал к выучке у капиталистов, у Запада, Ленин предлагал внутри государства учиться у специалистов. Что это значило? Что рано или поздно в государственный аппарат революции придут и интеллигентные и способные выходцы из крестьянской среды, из русской среды — и что в нем, при осуществлении политики Ленина, начнут играть роль до тех пор затертые организованные представители русской служилой интеллигенции. А что это влекло? — Конец карьере всех скороспелых цветов революции вроде мадам Коллонтай. Вот почему — охраняя свое собственное положение, охраняя себе подобных от нового вторжения русских сил в дело управления русским государством — и боролась эта международная мадам в рядах рабочей оппозиции. Но последнюю скоро разбили. Сочувствия ни в партии, ни в стране она не нашла. Мадам Коллонтай поспешно покаялась — и вскоре, зная, что в России ей делать нечего, что там ее быстро затрут, прыгнула за границу, на дипломатический пост.

Рабочая оппозиция не умерла все-таки. Она долго

вела, последовательно развивая, свою борьбу. Но мадам Коллонтай ни к ней, и ни к каким другим оппозициям уже не принадлежала. Она осознала свое место. Крепко вгрызлась в единственный оставшийся для нее кусочек хлеба — и с тех пор все оправдывает, все покрывает, на все готова. Нет более податливой женщины и полпреда, чем она.

XXXIX.

Было бы утомительно и однообразно вырисовывать в отдельных потретах всю многочисленную массу членов нынешнего советского правительства, всех этих второстепенных членов политбюро, наркомов, членов ЦК партии, президиума ЦИК'а и т. д. Не потому, что среди них нет крепких по натуре людей. Конечно, есть — и немало. Таково неизбежное следствие всякой великой революции: она, как гроза, освежает землю; она выковывает новый тип и гражданина и правителя; тип более совершенный, чем прежний; она перетряхивает народ, производит отбор прирожденных талантов, дает им широкие возможности выдвинуться, ломая стенки условных традиций и предрассудков; вместе с грязной и шумливой пеной она выбрасывает наверх и подлинно-ценных людей, имеющих все данные для того, чтобы стать в дальнейшем творцами нового общества и государства. Как правило: правительства больших народных революций всегда ярче и крупнее правительств «нормальных» и «спокойных» эпох и стран. Правило это подтверждено и сегодня: по силе характера, по ясности мысли, даже по знаниям, по общему

уровню культуры, средний член нынешнего советского правительства во много раз выше такового в любой из западных стран. И все-таки: людей исключительной яркости в среде советского правительства нет. Это мы видели даже на примере наиболее крупных людей. Все они как то на одно лицо. Биография каждого могла бы быть написана по одному шаблону: родился тогда то, тогда то вступил в большевистскую партию; был в ссылке, в тюрьме; в революцию был на фронтах гражданской войны, занимал такие то посты; и все. А яркие личные дела? Мысли? Чувства? Индивидуальные особенности? — Это все скрыто, даже для людей, близко их знающих. Это все в потенции — но сегодня не проявлено. Сегодня все они какие то серые призраки, пропадающие, блекнувшие в мрачной тени, отбрасываемой по всей русской земле громадной, все заслоняющей, все подавляющей фигуры диктатора Сталина. Даже тот, кто имеет яркую индивидуальность, старается скрыть ее — и вымазаться в защитный цвет обезличенности. Дельцы — хорошие. Люди?... Людей не видно.

Но почему это так? Не противоречит ли это только что подчеркнутой нами особенности великих революций выискивать и выдвигать крупных людей? — Нисколько. —

Есть еще одно правило, установленное великими революциями: наиболее яркие люди и наибольшие дела приходят всегда к моменту завершения революции, к той поре, когда она, окончательно преодолев старое, начинает творить подлинно новое, старым веком никак не предусмотренное. Эти новые люди с их новыми делами приходят из поколений, взрожденных в самой революции, из детей нового, ничего от прошлого не загибающих, никаких догм, никаких предразсудков, —

берущих одно только — порванные революцией концы исторического развития своей страны — и вплетающих их в нить будущего. Только такие люди — твердо, обеими ногами стоящие на почве революции — становятся ее хозяевами, ее победителями, ее завершителями. Они кладут ей конец. Обращают ее из бича, разсекающего народное тело, в творческую силу, сплачивающую нацию и создающую ее новую жизнь. Воля и дела этих людей сплачивает вокруг них и лучшие силы более старых поколений революционеров. Последние в атмосфере нового либерализма начинают глубже и шире, чем раньше, дышать, внутренние освобождаются, преодолевают в себе предрассудки старых догм, становятся свободными и способными к творчеству людьми, расцветают, проявляют себя, вырастают в подлинно большие величины. Так было во Франции. Пришла пора завершения революции. Пожинания ее плодов. Пришел Наполеон — сын и герой революции. Вокруг него сплотилась прежде всего молодежь революции — и внутри-французская и эмигрантская, молодежь всей нации —, вокруг него сплотились и наконец то нашли свое настоящее место в жизни и многие люди прежней революционной правительственной среды. И тогда — и только тогда — имена и дела этих людей ярко заблистали в глазах современников и на страницах истории. До Наполеона и его творческой эпохи те же люди, несмотря на большие природные таланты, были серыми тенями. Они не могли распуститься под гнетом догматического периода революции. Они влачили жалкую, приниженную жизнь, были дельцами, орудиями, но не свободными творцами.

То же и у нас. Революция наша не вошла еще в

полосу своего завершения. Мы только у порога ее. И именно потому мы находимся сейчас в самом тягостном периоде революции. Это пора застоя, пора искусственного консервирования старых революционных догм, переставших уже быть революционными. Период разрушения, исторически оказавшегося необходимым, закончен. Старое снесено. Почва для стройки нового здания расчищена. Создаются, отчасти уже созданы материальные основы этого здания. Но ни в стенах этого здания, ни в людях, работающих над его постройкой, нет еще новой души, нет новых идей, которые объясняли бы смысл дальнейшей борьбы и давали бы ей оправдания. Происходит поэтому чисто механическая, неодоухотворенная работа. Ее голый материализм скрашивает только смутное ощущение, что дело делаемое не пропадет, поскольку им в дальнейшем будет пользоваться свободная нация. Но когда и как нация станет свободной, когда и как станет свободным каждый отдельный человек в ней — это еще неясно, об этом люди еще боятся не только говорить, но и думать. Нет еще новой системы идей — не развернуто еще знамя новой борьбы. Не пришел еще вождь обновленной революцией нации. Все застыло поэтому под гнетом мертвой догмы, которой тюремщики России сегодняшнего дня пытаются оградить свое настоящее от будущего...

Знаете, что такое нынешняя правительственная Москва?... Да и не только Москва — вся Россия!... — Это немая сцена в театре. Вспомните хотя бы развязку «Ревизора». Все стоят — все эти как будто живые люди. И все застыли. Рты раскрыты, но слов нет. Ноги занесены для шага — но нет движения. Руки

протянуты, все мускулы напряжены, дрожат... и все-таки не двигаются вперед. Жизнь остановилась.

Но это внешнее только. Ибо внутренняя жизнь есть. И рано или поздно сломится воля и жизнь главного режиссера сегодняшнего дня, выйдут из повиновения люди-куклы, оживут по-настоящему, — и начнется настоящая игра. Начнется новый акт великой драмы: «Национальное возрождение России». В его рамках многие люди сегодняшнего дня и сегодняшней правительственной верхушки найдут свое настоящее место и покажут, на что способна великая революция, какие яркие и сильные таланты выносит она наверх из гущи народа.

Стокгольм.

Февраль-Март 1932 г.

עיריית חיפה
מסרכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית אינטסטיין - ספריה
מס. מלאי.....

עיריית חיפה / מינהל התח"י
אוף לתרבות ופנאי, אסתר, תח"י ופנאי
הספריה הצבורית ע"ש ש. ש. ש.

מס'

72783/1